Июнь

Автор:
Дмитрий Быков

Июнь

Дмитрий Львович Быков

Проза Дмитрия Быкова

Новый роман Дмитрия Быкова – как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

Содержит нецензурную брань.

Дмитрий Быков

Июнь

© Быков Д.Л.

© Бондаренко А.Л., оформление

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму, полную революционных предчувствий, в года, когда революция уже произошла…

Александр Блок. «Возмездие»

Часть первая

1

Когда в октябре 1940 года Мишу Гвирцмана исключили из института, у него появилось много свободного времени.

Как им распорядиться, Миша не знал. Оставаться дома было немыслимо, вздохи матери доводили его до белой, буйной, несправедливой ярости. Он еле удержал ее от похода к ректору, от заявления с признанием собственной вины, – и она притихла, но не успокоилась, нет. Особенно ужасны были ежечасные предложения что-то съесть, подкладывание вкусненького. Впрочем, вечернее покашливанье отца и нарочито-бодрые разговоры о чем попало, чаще всего о газетных новостях, были ничуть не лучше. Не мог оставаться дома, первое время просто шлялся по городу, благо сентябрь был теплый, почти летний, и ноги сами уводили как можно дальше от Сокольников, чтобы ни-ни-ни, не встретить человека из института. Никто ему не попадался, не звонил, не предлагал повидаться: для одних он был зачумленный, другие чувствовали себя виноватыми. Он допускал, впрочем, что некоторые радовались, но вряд ли многие.

Большая часть времени уходила на то, чтобы закрасить настоящие воспоминания и выдумать новые, врастить их в картину мира. Он полагал себя в академическом отпуске. Сказал же ему Евсевич, вполголоса, еще и подмигнув: ничего, придете через полгода, все забудется, восстановитесь. Если бы еще прошлой весной кто-то посмел ему намекнуть, что он будет утешаться

подмигиваньем Евсевича, приспособленца, вечно висевшего на волоске, в страхе изгнания, а все-таки бессмертного! Раз в семестр Евсевич менял свою концепцию истории русской критики, которую преподавал блекло, полушепотом, а когда-то считался эффектнейшим лектором Москвы, и держали его, кажется, лишь затем, чтобы показать результаты перековки. Непонятно только, был это дурной пример или хороший. Вот что будет с тем, кто перековался, – или с тем, кто в душе остался не наш! Евсевич, безусловно, был не наш. Наш не может быть таким. И теперь, когда Евсевич возле деканата наклонился к нему воровато и полушепотом пожалел, Миша Гвирцман был себе вдвойне отвратителен.

Некто хотел изнасиловать женщину, но не смог. Кто-то шел мимо, или иначе помешали, или просто, бывает, не получилось. Она, однако, подняла шум, и его посадили. Он отсидел, вышел и изнасиловал ее, потому что иначе было обидно. Такой сюжет. Миша не знал, прочитал его где-то или придумал. Валя из его мыслей была изгнана начисто и пребывала в изгнании, пока он не понял, что обдумывание планов мести способно пролить на рану хоть сколько-то бальзама, пусть и второсортного. Планы мести были троякие. Первый, откровенно детский: он многого достигал и торжествующе, презрительно шел мимо. Из серии «Тогда она поняла». Желание славы, раз уже испытанное в истории с Леной М. Он читал на пушкинском вечере «Воспоминания в Царском Селе», был вылитый Пушкин, в качестве Державина присутствовал умиленный Сельвинский, но… месть не удалась. Он счастлив был позволением проводить Лену два раза – и все. Но теперь-то уж, конечно, мы не дрогнем.

Второй был взрослей, решительней: он реабилитировался, вся история забывалась как мелкая неприятность – у кого их не было? – и от него зависело ее трудоустройство или карьера, и Валя получала такой от ворот поворот, какого не делал в Сокольниках любимый трамвай 4а.

Третий был самый странный, он не ждал от себя ничего подобного: нравилось представлять ее повешенной или подвергаемой пыткам, какими франкисты пытались сломить испанских коммунистов, попавших к ним в лапы. Мечты и даже сны такого рода вызывали кратковременное облегчение и жгучий стыд.

Вообще же – к черту, все к черту! Когда он, бледный, но гордый, выходил из института после собрания, без слез, естественно, однако дергалось веко, – его нагнал Игорь: брось, ничего страшного, никто не верит, все это не всерьез. Миша тогда остановился и чеканно переспросил: не верит? Почему же ни одна сво… ни один… не раскрыл рта? Почему воздержался только ты, и не против,

заметь, а воздержался? Но ты же понимаешь, старик… Я не старик, огрызнулся он тогда, это ты старик, и все вы старики. Вообще держался вроде бы не самым стыдным образом. На следующий день к нему пришел Полетаев – странный человек, кое-чего повидавший. Мише Полетаев всегда нравился, хотя говорили о нем разное. Он был, говорят, в ссылке. Марина сказала, что от него буквально пахнет ватником. Ей-то откуда знать, как пахнет ватник? Полетаев однажды похвалил его стихи, вообще, кажется, был к нему сдержанно расположен. Он был у Миши на дне рождения, восемнадцатом, самом счастливом – знать бы тогда! Нет, лучше, конечно, не знать. Просидел три часа молча. Так что запомнил, где Миша живет, и пришел без звонка, хорошо, что застал. Вышли пройтись. Полетаев некоторое время молчал, потом сказал: не могу ничем тебя утешить, да тебе и не нужно (Миша гордо кивнул), и вообще не старайся себе внушить, что ничего особенного не произошло. Безусловно, произошло. Но, во-первых, поэту нужна судьба, и теперь ты будешь писать иначе. Я всегда, сказал Полетаев, догадывался, что тебе не хватает именно толчка. Сколько можно писать о Жанне д’Арк? Теперь будет внутренний опыт, и все, что ты напишешь, будет уже не детское. Ни в коем случае не надо прятаться. Надо принять, пережить и превратить в лирику. А во-вторых, ты этого хотел, Жорж Данден. Очень многие страдают без вины, что и некрасиво, и унизительно. Ты же можешь сказать, что пострадал из-за любви, и это лучше, чем огрести просто так. Но пойми, сказал Миша, ведь ничего не было. Не было, так будет, загадочно сказал Полетаев. А я, добавил он, думаю сам уйти – этот институт совсем не то, что надо, просто обидно уходить на ровном месте. Я уйду так, чтобы вышла польза. Ну, ладно, мне направо – и исчез, как явился, внезапно.

Катя не решилась прийти, но написала. Писала она, что про Валю всем давно понятно, и что она-то, конечно, с самого начала понимала, что Миша не такой и ничего не могло быть. Все про это говорят, и вокруг Вали образовался как бы колокол, из которого высосали воздух. Этот физический опыт из учебника Перышкина знали все. Ужасней всего – нет, противней всего, потому что ужасное происходило сейчас с Мишей, – противней всего было то, что Катя приложила к письму стихи, и по стихам было понятно, какая она некрасивая, с прыщавеньким лбом. Стихи были с отвратительной рифмой «дым из труб» – «на ветру», и почерк ее был школьный. Его жалели только люди вроде Евсевича и девушки вроде Кати, чье тихое обожание он принимал с откровенной брезгливостью. Вызывать сострадание у тех, кого презираешь, – что хуже? Он записал эту мысль в дневник, который теперь убрал из ящика стола и спрятал как следует.

* * *

2

Что, собственно, случилось? Прежде чем мысленно переписывать прошлое, его надо было по крайней мере уяснить; назвать вещи своими именами, чтобы придумать эти имена заново. Назовем же: его все-таки не стали исключать из комсомола. Если бы исключили, это означало бы куда более серьезные последствия. Тут и отца погнали бы с работы, и вообще могло быть что угодно. Но по комсомольской части объявили выговор, и на этом все закончилось. Да и что, по самому строгому счету, могли ему инкриминировать? Изнасиловал? Смешно. Поцеловал? И этого не было – скользнул губами, и только потому, что явно заигрывала сама. Но он, конечно, не сказал об этом ни слова. Все было рыцарственно. По большому счету, ему не в чем себя упрекнуть. И если она затеяла всю эту историю, то лишь для того, чтобы избежать соблазна. Так у них могло что-то быть, он чувствовал. А после того, как она написала заявление, – все отрезано, и она опять звезда факультета, невенчанная вдова героя, столп чистоты. Интересно, до пятого курса проходит так? Не может быть, выгонят с третьего. Сказал же ей Толкачев на майской сессии: ответ, конечно, малоудовлетворительный, но в связи с исключительными обстоятельствами… Остальные про обстоятельства не сказали, но было ясно.

Итак. Пойдем с начала, с самого начала. Он увидел ее при подаче документов, но не уверен сейчас, она ли это была. Любовь всегда присылает вестниц. Тогда, оставляя свои грамоты и папку со стихами, он заметил ее взгляд – как бы иронический и при этом сразу сдающийся, долгий. И обязательное подталкивание подружки локтем, и сдержанный хихикс. Он прошел мимо не удостоив – еще в девятом классе привык, что звали то Пушкиным, как после того вечера, то Байроном, когда Нонна Ивановна прочла им Байрона. Шел и сам чувствовал, как хорош, – несмотря на малый рост, из-за которого никогда не страдал, всегда гордился. Важен не рост, а соразмерность. У него был рост Лермонтова, совсем немного не дотянул он до Гёте.

На вступительных испытаниях они с Валей пересечься не могли, потому что Миша, почти отличник (подгадила геометрия), поступал после легкого, символического собеседования, на которое и шел как на праздник. Праздник,

как и аттестат, был подпорчен – собеседование у него принимал Ларин, доцент, тихий, стройный, всегда улыбающийся. Миша, пожалуй, заигрался: белая рубашка с открытым воротом, блеск глаз, несколько наигранная пылкость – он думал выехать на одном обаянии, но это не прошло. Теперь, наверное, он предпочел бы экзамены, потому что нынешняя катастрофа прислала вестника еще на собеседовании. На всю природу, казалось, наползла тень, даже сияющий июньский день поблек за окнами, когда Ларин, вдруг перестав улыбаться или, точней, начав улыбаться совсем по-змеиному, вдруг сказал: ладно, ваши знания весьма поверхностны, вы, так сказать, нахватаны, поговорим теперь серьезно. Миша понял, что Ларин его не полюбил, а ведь все, что Миша делал и говорил раньше, было рассчитано именно на любящих. Он отвык от другой среды. Когда-то, класса до седьмого, в прежней, тридцать третьей школе его не любили, но он постарался это забыть, изжить. Ларина можно понять: он увидел перед собой – думал теперь Миша – удачливого мальчика, мысленно уже поступившего, вступившего на легкую дорогу (рассказывали о ларинском блистательном начале, которое в двадцать восьмом году вдруг подкосили при темных обстоятельствах, он в чем-то был замешан, – и с тех пор его высшим наслаждением было низвергать счастливцев). Что же, сейчас мы этого удачника… «Теперь серьезно. Вы сказали, что романтики видели воплощение своих идеалов в фигуре Наполеона. Это спорно, однако примем на веру. Отчего же “столбик с куклою чугунной„вызывает такую иронию у Татьяны, и в какой момент у Пушкина наметился скепсис в отношении Наполеона?» Миша понес невразумительную чушь о том, что в Татьяне говорит оскорбленная любовь, отвергнутое девичье признание, – а надо было, конечно, говорить о том, что «Евгений Онегин» был первой ласточкой русского реализма, что для реалиста Наполеон лишь самовлюбленный убийца, процитировать «Мы все глядим в Наполеоны; двуногих тварей миллионы для нас орудие одно», и уж он набрал бы цитат, потому что «Онегина» знал наизусть, выучил без малейших усилий к пушкинскому году; но не нашелся, и Ларин его прервал: «Так-с. Этого вы не знаете. Чем вы объясняете, что роман Пушкина называется “Капитанская дочка„, тогда как Маша Миронов – а далеко не главный персонаж?» Мишу подмывало рассказать свою теорию про скрытую пружину действия – но пришла спасительная мысль: «Для Пушкина, – сказал он с отчаянной дерзостью, – вообще характерно давать название вещи как бы по касательной. “Медный всадник„не про “Медного всадника„, “Золотой петушок„не про петушка: они лишь символы. И капитанская дочка – лишь символ чистоты и чести». Ларин хмыкнул. «А Дубровский»? – спросил он, улыбаясь уже не столь змеино. «А название “Дубровский„было дано при публикации Жуковским», – отчеканил Миша с сознанием трудно добытой победы. Ларин покачал головой, усмехнулся и спросил что-то вовсе уж простое про Мопассана. Мопассана от Миши никогда

не прятали, и он с легкостью пустился рассказывать о деградации художника, отравленного общественным разложением. «Мопассан как настоящий парижанин…» – начал он. Ларин поднял бровь. «Парижанин? Он был нормандец». – «Но жил и умер в Париже», – парировал Миша. «Он умер в Пасси, в лечебнице. И вот так у вас все, понимаете? Все поверхностно, приблизительно. С этим багажом можно было считаться эрудитом в школе, но в институте, тем более в таком… Хорошо, собеседование вы прошли. Но расслабляться, Гвирцман, – расслабляться я вам не советую».

И он не расслабился, хотя вечером отец повел их с матерью и с дядей Леней в открытое кафе в Парке культуры, где пили слабое сладкое вино, и ели мороженое, и отец провозглашал смешные неловкие тосты. Миша сидел скромный и строгий. Он сказал только: спасибо, дорогие параны – parents, родители, – но я понимаю, как мало еще умею и знаю. Вообще об успехах говорить рано. Правда, уже следующим утром его затопило такое счастье – поступил, и лето впереди, и он так прекрасно нашелся насчет Дубровского, – что предчувствие померкло, а ведь Ларин тоже был вестник. Но Миша, что греха таить, был уверен, что счастливцев срезают всегда, просто чтобы не заносились, так что отнестись к этому следовало с благодарностью, словно к экзамену на смирение. Задавак ненавидел он сам. И он все забыл, вытравил, а в середине сентября – занятия начинались десятого – увидел Валю. Он долго на нее смотрел, и она почувствовала этот взгляд, и ответила, но небрежно, без интереса. Он понял, что случилось непоправимое. В отличие от счастливой тройки отличников, прошедшей собеседование: он, скучный Ваня Карцев и неприятная, прилипчивая Катя – они все сдавали экзамены и успели сдружиться. Валя училась теперь в одной группе с Николаем Тузеевым, по его личной просьбе. На общих лекциях она сидела только с ним, но иногда Миша ловил ее взгляд, словно говорящий: а вот оно как. А тебе шиш.

Ну, что делать. Тузеев прибыл из Сталинграда, где его отец работал начальником цеха на тракторном и где сам он успел год отработать после школы. Заочно учился в педагогическом, писал стихи, печатался в газете «Искра индустрии». Кстати и некстати подчеркивал, что на очное не стал поступать сознательно, решил попробовать жизни. Напробовался быстро, почти сразу оказался в рабкорах, потом, как молодой и перспективный, получил направление в ИФЛИ. Почему человек, который прочел, допустим, всего Бальзака, хуже знает жизнь, чем другой человек, проездивший год по сталинградским командировкам и писавший о том, как сельские школы готовятся к учебному году? На собрании припомнили – Никитин, кстати, настолько уже явная сволочь, что угадывалась за этим сознательная жажда падения, поиск вдохновения на дне, за отсутствием

абсента и сифилиса, – припомнили, что Миша смеялся при обсуждении стихов Тузеева. Ну да, смеялся. Вот Ширшов сидел с каменным лицом, еще более смешным, чем стихи Тузеева, Катя закрыла лицо руками. Умная Катя. Что ему стоило тоже закрыть лицо руками на стихотворении, скажем, про утреннюю степь, в которой так хорошо, что не может он стерпеть, – такая рифма на «степь». Миша представил, как именно «не может», но дальше было даже лучше, потому что поэт хотел бы, конечно, любоваться степью, но у него много дел, и все срочные. И Миша, надменный Миша, переглядывался с остальными участниками андреевского семинара, но Андреев покосился неодобрительно, и прочие не поддержали веселья. Тузеев после обсуждения, на удивление снисходительного, сказал, глядя в свои листки: вообще, конечно, я понимаю, что для некоторых… которые знают жизнь из дачного окна… это все несколько коряво, шершаво, занозисто. Но сказал же наш сталинградский поэт, он же рабочий, стихи пишет в свободное, тэ-скэть, время: и будет пусть в стихе заноза! Миша хотел тогда сказать – и, может, лучше бы сказал, откровенность искупает многое: дорогой товарищ, не надо хвалиться занозами! Мозолями! У нас дачи нет, но мы ее однажды снимали, и мне пожилой садовод там объяснил: если у вас мозоли от лопаты, вы просто ее неправильно держите! Так же, думаю, и с занозами. И не надо выхваляться корявостью стиха – не станешь же ты хвалить коряво сделанный трактор, если брать область, которая тебе ближе. Но он ничего не сказал и, что всего ужаснее, жарко покраснел.

Тузееву удивительно везло, словно пружина сжималась или рогатка натягивалась, дабы выстрелить последним и главным невезением в первом же бою. Его боялись трогать, напечатали в «Красной нови» в подборке лучших студентов, с хвалебным предисловием Андреева (у Миши взяли сначала балладу, но по темным причинам она вылетела из верстки, да он и не верил, что напечатают); на семинарах, какую он чушь ни ляпни, обязательно со ссылкой на своих пролетарских философов, всю жизнь отработавших на тракторном, но в свободное, тэ-скэть, время… – преподаватели усиленно кивали, и даже Коробкина, на которую уж подлинно было не угодить, сказала, тряся седой головенкой: многие зубрят, а Тузеев мыслит! И кто бы ждал – Боря, непреклонный Боря, не хваливший никого, и у Маяковского находивший слабости, сказал на одной из прогулок по Тверскому, глядя, однако, в сторону: конечно, Тузеев есть Тузеев, но все-таки, как угодно, никто не обещал, что пролетарская поэзия начнется с Бодлера или хоть с Некрасова. Тузеев – первые попытки, у него появляются даже метафоры, «зеленый, снежный ком луны». Боже мой, если снежный, то отчего зеленый?! Да, кивнул Борис, мы можем лучше, но за каждым из нас стоит известная культура, а за Тузеевым – ничего. И хотел Миша возразить, что за Тузеевым стоит папа-начцеха, а это серьезней

любой культуры, – но смолчал, потому что, назовем вещи своими именами, боялся Бориса. Борис был вожак, негласный инспектор молодой поэзии, человек прямой и храбрый, столь храбрый, что на то собрание не пришел, сказался больным, и, когда – опять отводя глаза – сказал Мише неделю спустя, что тактически правильного решения в ситуации не было, Миша очень прямо ему ответил: Боречка, ты всегда теперь так будешь. Понимаешь? Всегда. И вожак-инспектор ничего не сказал на это. У Миши было теперь изгойское право говорить им все как есть, преимущество, которое жаль покупать такой ценой, но другой не бывает. Он по крайней мере мог теперь не скрывать, что тузеевские стихи – дрянь, и даже то, что Тузеева убили, не сделало их лучше.

«Тактического решения не было». Но как же Робин Гуды, как же кружок, братство, один за всех – все за одного? Как же возрождение добрых нравов, и если уж Борис, железный Борис, оказался таким картонным – если лучшие из них настолько ни на что не годились, – каков же должен быть катаклизм, из которого внезапно образовались бы новые, не гнилые люди? Об этом он думать боялся.

* * *

3

Война началась внезапно, как все очевидно неизбежные вещи: не может же быть, чтобы простые правила так наглядно сбывались? Но вот сбылась, и в понедельник, четвертого декабря, был всеинститутский митинг, и ректор Карпова сказала с явным неудовольствием, что могли бы собраться и в воскресенье, не перетрудились бы, и тотчас следом за ней Тузеев заявил, что отправляется добровольцем и будет записывать всех желающих, и тридцать человек немедленно выстроились к нему в очередь, а Миша туда не пошел. Миша был освобожден от военной службы. Мать – кардиолог. У него действительно были осложнения от детских ангин. Он еще в школе был спринтером, потому что не мог бежать долго. Освобождение ему подтвердили на повторной медкомиссии в сентябре. Маме ничего не пришлось выдумывать. Он знал, что, если дойдет до крайности – чего быть практически не могло, но все понимали, что будет, – его призовут все равно, он был типичный второэшелонник; но пока не дошло, он действительно не имел права рисковать

собой и другими. Еще не хватало на фронте приглядывать за его здоровьем.

А Тузеев вызвался добровольцем и переписал всех желающих, и естественней всего было предположить, что ему повезет и тут – скажут спасибо, внесут в реестры добровольных героев, но не призовут, скажут: дойдет до вас очередь, навоюетесь. А пока пусть другие, не студенты. Но тут его везение кончилось – их всех призвали. Впрочем, на то он, верно, и рассчитывал? Быстрая победоносная война, триумфальная прогулка до Хельсинки, и ты герой. Так же попробовать войны, как попробовал он жизни. И, чем черт не шутит, попасть в дивизионную газету. Миша понимал, что это мысли подлые, но продолжал приписывать герою Тузееву самые худшие намерения, и мертвый Тузеев, так незаслуженно ему навредивший, ничуть в его глазах не улучшался. Коробкина рассказывала об устойчивом готическом мотиве – мертвом женихе; Миша мечтал написать такую балладу, но сам в нее попал. Мертвый жених Тузеев встал у него на пути и вышиб из седла. Где-то были теперь его длинное лицо, белесые волосы, приплюснутый нос, похожий на вжатую кнопку, – как все это после смерти изменилось? Тузеев, конечно, ничего не знал о Мишиной катастрофе, а между тем ясно было, что он-то ее и организовал.

Сначала от него ничего не было. Война шла трудно, не так, как предполагалось. Катя съездила в Ленинград и сказала, что в некоторых районах по ночам отключают электричество – то ли для маскировки, то ли его не хватает. И будто бы даже хлебные очереди. Сама не видела, но говорят. Говорили также, что финны более приспособлены для войны в зимних условиях, что все они прирожденные лыжники. Миша вообще не понимал, почему финны. Ему казалось, что это случайная, преждевременная растрата долго копившегося напряжения. Об этом шли разговоры. Боже мой, он вел разговоры и не предполагал, как это все может быть повернуто! Но, к счастью, на собрании никто об этом не вспомнил, а может, умолчали расчетливо, потому что пришлось бы отвечать самим: а почему не возразили? не сообщили? Что и с кем он осмеливался обсуждать! Например: почему финны? Торкунов сказал с новообретенной солидностью: старик, немцы называют это геополитикой. Они давно в этом понимают. Почитай Хаусхофера, только что перевели. Нам надо было это сделать, потому что Финляндия ведь исконно наша. Мы не можем оставлять врагу такой плацдарм, а Рюти, безусловно, враг. Ему предлагали идеальные условия. Они выжидают. Если большая война, то это направление главного удара. Ленинград – это тридцать, кабы не больше, процентов оборонной промышленности, ты слышал про это? Это все высокоточное оружие. Мы должны были. А Полетаев просто сказал: ну, как же иначе? Ты разве не чувствовал? Чувствовал, сказал Миша (как казалось ему теперь, довольно тупо).

Но почему именно финны? А какая разница, ответил Полетаев, хоть бы и папуасы. Он-то был осторожен, опытный Полетаев, знал, что можно, чего нельзя.

Потом вернулся едва оправившийся от воспаления легких Гриша Кумов. Видимо, все было не так серьезно, если домой отпускали после пневмонии. Кумов был неудачник, так и выглядел, и даже на войне ему не посчастливилось – комиссовали не после раны, не как героя, а из-за болезни, вполне гражданской. Он был мал, квадратен, непонятно почему поперся добровольцем: может, надеялся вырасти, набраться нового опыта, а то было совсем непонятно к чему человек. И опыта он набрался, но, как всегда бывает с такими людьми, непременно нуждающимися в ужасном, чтобы вырасти, этот опыт его раздавил. Он зашел в институт в феврале всего дважды. В первый раз Миша не решился к нему подойти, к тому же вокруг него толклись, а Миша не любил растворяться в толпе. Во второй раз Кумов пришел через неделю, и Миша подошел, скрывая неловкость, держа руки в карманах: ну что, Гриша? Но бодряческий этот тон совсем не годился, и Миша просто сказал: ты знаешь, душа у меня неспокойна. Я думаю, что, может быть, следовало пойти. И Кумов, подняв на него глаза и почувствовав, может быть, серьезность вопроса, ответил: тебе – тебе это ни в коем случае не надо. И никому не надо. Что, спросил Миша, такой ужас? Да не ужас, ответил Кумов, не надо – и все. Лишнее. Но хотя бы что там происходит? Я был в бараке, неохотно пояснил Кумов, такой барак-лазарет. А на самой войне что? Кумов ответил, что войны почти не видел, заболел скоро. Огляделся и добавил: с обмундированием не очень хорошо. Довольно холодно. (Зима была в самом деле лютая, даже в Москве чувствовалось.) И кроме того… ты знаешь, у меня было впечатление, что много времени тратится непонятно на что. Самой войны мало, передвигались непонятно куда, ничего не объясняли. Выбирали позицию, потом вдруг уходили. И как-то вдруг оказывалось, что кругом финны. Я заболел, сказал Кумов, и меня увезли, а почти вся наша рота потом… Опять-таки не очень было хорошо с креплениями для лыж, иногда приходилось приматывать веревками. Это не всегда удобно. У финнов были крепления. В общем, тебе не надо было, не следует думать, что это полезно. И Кумов исчез, словно его притянула к себе почти полностью исчезнувшая рота. Говорили, что он уехал к себе в Белгород. Но вообще понятно было, что не жилец.

А в марте погиб Тузеев, и в тот же день погиб Робштейн, пытавшийся его, уже мертвого, вытащить из-под обстрела. Погиб совершенно ни за что, просто чтобы бросить себя на неведомую чашу, которая вдруг перевесит – и тогда все поймут, что хватит. Тузеев Робштейна терпеть не мог, видел в нем одного из дачников, которых почему-то считал средоточием зла, – тогда как Наум был с Донбасса, успел понюхать жизнь лучше сталинградского рабкора. Миша его любил, но

издали. Приближаться к Робштейну он не хотел – тот был слишком шумен, неряшлив, нелеп, и чем-то таким Миша боялся от него заразиться: чутье на обреченных. Но поэт он был настоящий, и Миша успокаивал свою совесть тем, что несколько раз сказал ему: слушай, это удача. И Наум, уже издавший у себя в Донбассе две книжки по-украински, радовался как дитя, нет, как слон. Он радовался всему, без надрыва, не накручиваясь, просто потому, что после нищего беспризорного детства любой кусок пирога был для него произведением искусства, пиром сложности. И то, что он погиб из-за Тузеева, было для Миши отдельным горем. Он хотел написать о Робштейне балладу, но что-то в этом было неприличное. Скорей бы он написал про Валю. Тут нашлась действительно лирическая тема. Потому что Валя была теперь свободна – но более недоступна, чем когда-либо. От живого Тузеева она ушла бы наверняка, а мертвый он стиснул ее намертво.

* * *

4

Шестого марта, когда в институте узнали о двух смертях, ее била истерика, слишком громкая, чтобы выглядеть настоящей. Икала, стучалась головой о стену, отпаивали водой и валерьянкой. Девочки дежурили у ее постели в общежитии, чтобы не наложила на себя руки. Уже девятого явилась в институт, траурная, строгая, ни слезинки в глазах, словно желая достойной учебой, деловитостью соответствовать памяти героя. Черное ей шло. Миша мысленно писал ей письмо.

И потом всю весну, все лето ничего не было. Правда, в мае его так замучили сны о ней, и в этих снах она была так расположена, так податлива, что между зарубежкой и творческим семинаром, между мейстерзингерами и Андреевым он подошел и сказал: Валя, я все понимаю. Если вдруг какие-то трудности, я готов… и тут же оборвал себя: так не вовремя, так высокомерно это вышло! Какие трудности в учебе, он что же, предлагал себя в репетиторы? И она посмотрела ледяными глазами, совершенно не так, как во сне, и он отвел взгляд, но тут она вдруг улыбнулась. Ты что, Мишка, сказала она. Мишка! Он никогда не слышал, не чаял услышать от нее ничего подобного. Ты что, краснеешь? Ну да, краснею, ответил он, и это был первый его удачный шаг в

отношениях к ней. Всего глупей было бы сказать «нет, что ты» – и запунцоветь окончательно. Да, я краснею, мне неловко. Мне вообще все теперь с тобой неловко. Да, сказала она вдруг по-взрослому, как умела, и проступило на секунду все ее настоящее обаяние, вот уж два месяца как спрятанное. Со мной всем теперь неловко, все сочувствуют и никто не подойдет. А я что ж, я человек. Я в кино иногда хочу. Но мне нельзя. Ты понимаешь? Он кивнул, и так ее было жалко в эту минуту! Безмужняя вдова. Идиот. За эту секунду жалости он себя проклинал теперь. И никакой грубости, вот интересно, никакой простоватости не было в эту секунду в ее лице. Или он весь был под действием мейстерзингеров? Но ему показалось тогда, что ничего нет возвышенней этой бесплотной любви: она – вдова, не познавшая замужества, он – рыцарь, не допущенный даже к самому куртуазному ухаживанью. И не рыцарь даже, а, допустим, конюший. Сцены из рыцарских времен. И как прелестно просветило ее солнце, как она вся порозовела, какая была ослепительная рыжая прядь! Уже совершенный расцвет, поздняя весна. Почему она тогда позволила ему эту близость? Заманивала? Но какой расчет, какая ей выгода от того, что он теперь так растоптан? Этого он не понимал, но почему-то все лето, идиот, считал ее своей. Весь царицынский цикл, все, что сочинено было на даче, все, что рассчитывал послать и так и не осмелился, – все посвящалось ей, он никого другого и не представлял теперь. И Даша, соседка, туманно намекавшая на какие-то июньские грибы колосники, на какой-то шалаш, на то, что у нее все уже было, – оставляла его безучастным, о чем он сильно теперь жалел. Все было глупо, так глупо! А между прочим, стихи были неплохие, особенно одно, раешина-скоморошина. Сам не ожидал от себя. Теперь все это пришлось забыть, он давно порвал царицынскую тетрадь, но стихи, к сожалению, помнил. Не так легко они забывались.

И начался третий курс, и по случаю его начала – чему радовались, интересно? – всех собрала Клара Нечаева, у нее была настоящая трехкомнатная квартира. Отец ее был шишка, но, странное дело, никто не знал его должности. А впрочем, настоящим шишкам так и положено: о них никто ничего не знает, и все им можно. Это была шишка, так скажем, нового поколения. Потому что, когда он был у Веры (вот, может быть, последняя развилка в его жизни, когда все можно было поменять, – конечно, Вера-то настоящая, она человек, и потому у нее так все сложилось), – у Веры он видел совершенно другой стиль. Там отец был действительно из тех, из конницы, из легенд. Можно ли представить, чтобы он слушал Лещенко? И потом болезнь жены, сумасшествие или что-то вроде, а когда она вернулась из лечебницы – словно что-то хрустнуло, и его перевели в Астрахань с понижением. Они уехали, и больше о них ничего не было слышно. Нечаев-старший был совершенно другой, наголо бритый, с толстой складкой на

загривке, с огромной, почему-то внушительной бородавкой на губе. Заметный южный выговор, гэканье, – но не мягкое, а такое, с каким изображают удар шашкой: хэк! И всего ужасней было, что он Мишу похвалил: черт дернул Мишу читать именно скоморошину! Хорошо, прям-таки наше, сказал Нечаев. Кларе он приходился отчимом. У ее матери была дивная судьба: она выходила замуж не за людей, а за эпохи. Первый муж был бандит, наводивший ужас на весь Николаев, второй – чекист, расстрелявший бандита, третий – промышленник, переживший чекиста (что-то такое случилось в двадцать девятом, темное, о чем Клара говорила, расширяя глаза и понижая голос). С промышленником случился в тридцать шестом сердечный приступ – вскоре после того, как его зачем-то вызвал как раз Нечаев; ничего страшного, поговорил и отпустил, но на приступ хватило. После этого Нечаев стал заходить, сделался в доме своим человеком, женился, удочерил Клару и заставил взять свою фамилию. Клара родилась от чекиста и до тридцать шестого была Фрумкина, но Нечаев сказал: хватит. Почему Кларина мать, красавица, вышла за этого типа – никто не понимал, но Клара, опять-таки округляя глаза и шепотом, объясняла: «Мы были бе?дны, дон Альвар богат». Зато теперь они были везде прикреплены, а имя промышленника как ни в чем не бывало носил самарский завод, который он некогда возглавлял.

И вот, как сказано, была вечеринка, среди которой Нечаев вдруг уехал – на ночь глядя, но у шишек теперь ночами была самая работа, так что никто не удивился. После его исчезновения стало словно легче дышать – «Сундук вынесли», тихо сказал кто-то, и все засмеялись оглушительно, с облегчением. Мать Клары, тридцатишестилетняя красавица, отнюдь еще не собиравшаяся увядать, посидела с ними и ушла к себе, сославшись на головную боль. У них было три комнаты, невероятно. Тут пошла настоящая вольница. Сначала еще старались не усугублять мигрени, говорили вполголоса, потом распоясались, танцевали, пили кислый вермут, показавшийся Мише исключительно крепким (и до сих пор вкус этого вермута связывался в его памяти со счастьем и вседозволенностью). Выходили курить на лестничную площадку, Миша тоже курил, стреляя папиросы у рослого тихого Утюгова, чей подбородок – на троих рос, ему достался – в самом деле напоминал утюг. Удивительно мягко ложился свет. Потом Клара настояла, чтобы выключили люстру, зажгли свечи. Уже в прихожей кто-то целовался. Миша танцевал с Валей, и она была в его руках все податливей, он позволял себе все больше, не встречая уже почти никакого сопротивления, и тогда в углу комнаты, когда никто, казалось бы, не видел, он отважился поцеловать ее в шею, ближе к уху. От нее пахло духами, названия которых он, конечно, не знал, а спросить стеснялся, не то давно купил бы… чтобы что? Чтобы утешаться или еще сильней ненавидеть? И вот он ее поцеловал, и она почти не отклонялась, только вдруг сильно задышала. И он сказал с легкой грустью: Валя, Валя, как

жаль, что все так сложилось. Теперь он будет между нами всегда, а ведь могло бы… Да, сказала она хрипло, могло бы. Но, может, еще будет? – спросил он, уже не выдержав элегического тона, с идиотской подростковой надеждой; но вместо того чтобы его высмеять, она серьезно ответила: может, еще и будет. Потом засмеялась: глупый ты какой! Ты же целоваться не умеешь, Миша! Но целоваться он умел, научился этому в подвале их дома очень рано, в четырнадцать лет, и тут же попробовал ей доказать это. Она вырвалась и посмотрела, как ему казалось, с одобрительным изумлением: надо же! – но быстро опомнилась и рассердилась: ты что это себе вообразил? Ну иди-ка отсюда! Она так и сказала: ну иди-ка! – с интонацией глупо-провинциальной, и тут случилась его ошибка. Он решил, что если с такой интонацией, то, уж конечно, она шутит, и в этом случае нет значит да. Тут уж она его отпихнула по-настоящему, и он, криво улыбаясь, вернулся за стол. Что, облом? – спросил Утюгов. Их никогда не поймешь, ответил Миша снисходительно. Тут начался дождь, зашумел по листьям, застучал по стеклу, и этим дождем словно разрешилось мучительное напряжение этого вечера. Миша окончательно впал в элегическое настроение и думал: мы не можем быть вместе, и это к лучшему. Обладание никогда не ведет к поэзии, зато теперь у меня есть вечный повод. И в этом настроении, ни с кем не простившись, он тихо, мечтательно ушел, и, идя по мокрой улице пешком в свой Потаповский переулок, даже что-то уже сочинял, ласковое и всепрощающее.

* * *

5

О том, что происходило после его ухода, он знать не мог, и по обычной невинности поэта никогда не прозрел бы в маленькой Фоминой источник всех своих бедствий. Потом, через полгода, он даже смеялся. Конечно, ему не нравилась малютка Фомина – кривозубая, нервная, с внезапными взрывами хохота. Когда Фомина и Валя возвращались – тоже пешком – в свою комнату на втором этаже общежития по Усачевой улице, Фомина как бы между делом спросила:

– Что же это ты, с Гвирцманом-то?

– А что я с Гвирцманом? – небрежно отвечала Валя, хотя на самом деле похолодела.

– Нехорошо это, подруга, – сказала Фомина. – Ты героя вдова, несмотря что и не записанная.

– Что с Гвирцманом, ничего с Гвирцманом, – забормотала Валя.

– Нехорошо это, – упрямо повторила Фомина. Она жила с грузчиком из соседнего магазина, говорила, что он пролетарий, страшно гордилась.

И тут Валя неожиданно для себя самой забормотала что-то чудовищное: да что я, он так на меня насел, так лез, что я вообще ничего не могла…

– А что ж не кричала? – подозрительно спросила Фомина. – На меня раз учитель не то что лез, а по голове погладил, я так орала на него, что он, сволочь, вообще с тех пор глаза поднять боялся, а не то что. Он подошел, я дежурная была. Он сразу: ши-ши-ши, ши-ши-ши! Если б он руки начал распускать, я, наверное, убила бы.

– Нет, ну что орать, – неуверенно сказала Валя, – кругом же все были, что бы он сделал…

– А что ж, надо ждать, пока сделает? Он должен знать, к кому лезть, ты вдова героя!

– Но он же не то что… Он же не успел…

– Ты это, подруга, – решительно сказала Фомина. – Если б Коля твой ждал вот так вот, пока они до Ленинграда дойдут, он бы не пошел добровольцем. Если все время ждать, пока они успеют, это как называется? Если б он жив был, нешто этот клоп посмел бы подойти? Ты подумай. И я считаю, что если так, то ты должна заявить, иначе это будет поощрение. Они руки распускать, а ты пожалуйста. И все видели. При всех к вдове героя – это же я не знаю какая наглость. Учти, если тебе свидетели нужны, то я первая.

Миша смеялся потом: вмешался старый дуэлист, он зол, он сплетник, он речист… Но и тогда, когда смеялся, когда многое уже мог Вале простить, и было за что, – он все-таки не понимал: как можно? Положим, он сам не ангел. Положим, он всегда в школе обличал тех, кого полагалось, рисовал карикатуры и писал стишки про двоечника Романова, хотя отлично понимал, что Романов не виноват и что у него не было условий нормально учиться, отчим бьет, да и сам дураком уродился. Возможно, теперь Миша расплачивался именно за эти стишки, за то, что сам вызвался обличать Романова и даже не покраснел под его затравленным взглядом, хотя Романов был, в сущности, приличный человек и учил его правильно копать червей. Но пойти и заявить… Валя сама не понимала, как она это сделала. Просто теперь, полгода спустя, она не могла уже представить, как будет жить, если утратит статус жены героя. Если серьезно, какая она была ифлийка? По меркам родной тамбовской школы она была безусловный отличник, хотя и забывала все после каждого экзамена, а когда поступила, хоть и со скрипом, с рекомендациями, с обкомовской грамотой за трудовую доблесть, – сразу поняла, насколько она тут чужая. И не за ум любил ее Коля Тузеев. Ему тоже было неуютно, и он даже сказал один раз мечтательно, что хорошо бы им вместе, знаешь, на какое-нибудь строительство, жаль, что почти все уже построено… Она так привыкла существовать в ореоле, что пасть, да еще так позорно, из-за копеечных приставаний Гвирцмана, которому и так все в жизни легко давалось, папа – московский врач, две комнаты в хорошей квартире в центре, и рассказывали, что учился он всегда легко, и девки засматривались, и не работал ни дня, вообще барин! Она и представить не могла, будто ему что-нибудь сделают. Ну осудят морально. И он, конечно, никогда к ней больше не подойдет, о чем она и жалела отчасти, но уже на самом дне души, не признаваясь себе. Но по заслугам. Пусть не думает, что все можно. Правда же, такой заносчивый. А вот не надо заноситься. Он потому ей и нравился, если правду, что был именно такой легкий и потому добрый, без малейшего запаха трудового пота, и так просто ему все давалось, и так никогда он не лез за словом в карман. Все другие даже стихи писали с натугой, а у него не чувствовалось усилий, хотя и стихи были словно необязательные, и она не всегда понимала, зачем они ему. Но уж теперь-то он будет понимать все про жизнь, думала она, и, может быть, если говорить про себя самое грешное и стыдное, она попросту думала таким образом с ним сравняться. Но какая разница, что она думала? В тот самый день, когда она отнесла в бюро заявление на Мишу, античник Гурьев сказал на лекции: Рим не интересуется помыслами, и потому, может быть, он не знал философии в греческом смысле. Всякий римский мыслитель имеет основное занятие: он либо император, как Марк Аврелий, либо политик, как Цицерон, либо воспитатель тирана, как Сенека. Желающий действовать – действуй, сомнение – постыдно, колебания – хуже самого черного

греха. Эта мысль подействовала на нее. И, как назло, Миши в тот день не было в институте. Где он был? Кажется, они с Борисом отправились к Брикам, но те не могли их принять, и они пили на углу пиво с чувством сладкой осенней вольницы. Чертово пиво. Может, если бы она увидела Мишу, то и не пошла бы никуда. Но вместо Миши она увидела, как на нее зорким глазком поглядывает Фомина, и, словно боясь – кого же? – Фомину! – она процокала на третий этаж прямо в бюро.

Секретарь факультетского комитета аспирант Драганов был человек со странностями, хотя и умел привлекать сердца. Странности, возможно, и привлекали. Он всегда сиял, приземистый, с ранней лысиной, круглился улыбкой, словно ему только что объявили таинственное, негласное поощрение. Весь его вид говорил: но мы-то знаем, и вы знаете. Масленый блин, говорил про него Тузеев. Но в этом лучении, в круглении было столь явное издевательство, что и в секретарях-то его держали именно поэтому. Если бы он был слишком верный, то был бы дурак. А так он улыбался на всякий случай, такой оборотный, всегда готовый отыграть, – словно все, как и положено начальнику, знал заранее. Сияющая его улыбка будто шла впереди него, или как будто он ее нес. И теперь, когда Валя вошла, он втолковывал пылкой румяной дуре с такой изумительной доброжелательностью, словно издевался каждым словом:

– Ты пойми, сегодня, может быть, в Бессарабии и Буковине решается будущее Европы! Ты понимаешь, какого масштаба выбор там делается? А? Климова? И в этих условиях ты в своей группе не вовлекаешь в работу студентку из Бессарабии, на что это похоже! «Из лыв густых выходит волк на бледный труп в турецкий полк» – ты знаешь, кто это сказал?

Румяная в ужасе хлопала глазами.

– Закрой, кричит, багряной вид и купно с ним прикрой свой стыд, – продолжал Драганов. – «Оду на взятие Хотина» надо знать, Климова, тем более что сейчас она мирным путем осуществляется вторично. (Он занимался русским восемнадцатым веком, стихосложением.) Товарищ Скурту у тебя не вовлечена, а надо, чтобы была вовлечена. Ступай, девушка, работай. А тебе что нужно, товарищ Крапивина? – и он улыбнулся Вале еще шире, чем только что Климовой.

– Я по личному, – сказала Валя, не глядя на него.

– Это очень хорошо, что по личному, общественное у меня уже вот где, – только что не пропел Драганов. – Когда красивая женщина приходит по личному, очень приятно.

Он-то мог себе такое позволить, и никогда не было понятно, когда он перестанет шутить.

– Ко мне приставал Гвирцман Михаил при свидетелях, – сказала Валя, сразу подпираясь свидетелями, – против моего желания.

Удивительно было, как легко сказалось.

– Это ужасно, – сказал Драганов, не изменяясь в лице, словно прямо ждал чего-то подобного. – Против желания при свидетелях – чудовищно. Я надеюсь, вы дали достойный отпор? – Неясно было, перешел ли он на официальное «вы» или имеет в виду свидетелей.

– Отпор я, конечно, ему дала, – сказала Валя, задыхаясь, – но считаю недопустимым и хочу заявить. Потому что я считаю недопустимым.

– Ну конечно, а то как же, – согласился Драганов. – А ты присядь, товарищ Крапивина. Уже потому недопустимо, думаю, что ты же не просто так студентка, верно? Мы все помним Колю Тузеева. Мы помним стихи товарища Комлева про девушку Валю. А девушка Валя, как будто заране скорбя, она чересчур осторожно любила тебя. И тут такое. Нужно примерно наказать, правда?

– То есть я дала отпор, конечно, – говорила Валя, словно этим отпором можно было еще поправить дело. Но вдруг ей самой стала противна своя суетливость. В конце концов, кто поставил ее в это положение, кто вообще ее вынудил? Если бы он не полез руки свои распускать, ничего бы этого не было, Фомина не держала бы ее на крючке и сама она не стояла бы тут сейчас в идиотском положении. – Но поскольку против моего желания и никак со мной не согласовав… ничего вообще никак…

И после она ничего почти не помнила – ни что говорила, ни как писала.

* * *

6

В следующий вторник Драганов поджидал Мишу у выхода из третьей поточной аудитории. Он был неулыбчив и деловит.

– Пойдем, товарищ Гвирцман, потолкуем, – и они отправились на третий этаж, причем Миша, идиот, шел радостно, предвкушая общественное поручение. Что скрывать, по-настоящему он был в этом смысле невостребован. Выступить от курса в Доме литераторов, сочинить стенгазету – сколько угодно, но у него были идеи по очеловечиванию, усложнению агитации, он был уверен, что нужно меньше барабанного боя, и теперь Драганов – поговорив, может быть, с Борисом, главным активистом курса, – обратился к настоящему резерву.

Они вошли в комитет, Драганов уселся за стол и некоторое время молчал.

– Гвирцман, – сказал он наконец обычным своим голосом, столь непохожим на издевательский фальцет его публичных назиданий. – Я мог бы тебе ничего не говорить, но это было бы неправильно. Отнесись с пониманием и про это наше с тобой собеседование не трепись.

Идиот Миша все еще рассчитывал на секретное политическое задание и с готовностью кивнул несчастной кучерявой головой.

– Тебе не следовало распускать руки, и ты плохо понимаешь, с кем имеешь дело.

Миша не успел испугаться и стал припоминать, с кем подрался за последнее время. Но он и в школе почти не дрался.

– Короче, у меня на тебя заявление от Крапивиной, и поскольку она о нем растрепала, то я обязан дать ему ход. Думаю, ничем для тебя серьезным это не кончится, все обойдется. Но тебе, Гвирцман, надо думать, кого и где хватать.

Миша с облегчением рассмеялся, ибо был, как уже сказано, идиот, молокосос, карась-идеалист.

– Я никогда ее не хватал.

– Я не знаю, что ты с ней делал, – утомленно выговорил Драганов. – Ты это все будешь объяснять теперь не мне. Но она написала на тебя заявление, что ты, оскорбив тем самым память погибшего друга, полез с поцелуями к его вдове. Ни о чем с ней предварительно не договорившись. – Он неприятно усмехнулся. – Мне по-хорошему следовало бы эту бумагу, конечно, того… Я мог бы ей объяснить, что так не делается, что нечего свою вдовью честь носить как медаль и так далее, тем более что никакая она не вдова и у Тузеева имелась невеста еще в Сталинграде. Прислала мне письмо, между прочим, со стихами героя. Но поскольку Крапивина уже успела растрепать, а товарищ Тузеев пал смертью храбрых, то я обязан дать ход.

– Товарищ Драганов! – быстро заговорил Миша. – Это бред какой-то! Я не трогал ее вообще!

– Гвирцман, – протянул Драганов. – Ну Гви-ирцман. Ты это будешь рассказывать на факультетском собрании. И если оно решит, что ты никого не трогал, то мы примем соответствующее постановление. Мы постановим, что она сама себя трогала.

– Какое факультетское собрание? – вскочил Миша. – Вы понимаете вообще, что говорите? Это теперь каждый, кто кого-то поцеловал, даже не поцеловал вообще…

– Сядь ровно, – сказал Драганов, и было в его тоне нечто, от чего Миша погас и сел. – Гвирцман. Ты должен говорить не то и не так. Ты еще не понимаешь, но я тебе сейчас объясню, дважды объяснять не буду. Ты должен кивать и повторять: ужасно виноват, не сдержался, подвергся гибельному очарованию. Надевай же платье ало и не тщись всю грудь закрыть, чтоб, ее увидев мало, и о протчем рассудить. Потому что рассуди ты сам, кто хуже: откровенный развратник или скрытый враг? Товарищ Смирнов, отделавшийся легким испугом, явился на семинар пьяным и в том каялся, плакася горько. Теперь представь, что товарищ Смирнов принялся бы утверждать, что он не был пьян, и тем поставил бы под сомнение объективность всех однокурсников? Которые ясно чувствовали, что от него пахло? Тебе сильно повезло, что ты к ней полез с поцелуями, а не с разговорами. Воспользуйся же этим и делай, как я тебе говорю.

Миша весь покраснел, чувствовал, как кровью наливается затылок, как шумит в ушах и как он перестает понимать, на каком он свете. Это было попадание в «Уленшпигеля», в донос инквизиции.

– Разврат – это хорошо, простительно. Ну у тебя был порыв, ты понимаешь? – И Драганов поднял на него голубоватые, а может, и зеленоватые, а впрочем, какие угодно глаза. В этих глазах не было сострадания, только утомление. – И если ты поведешь себя правильно, то есть горячо раскаешься и свалишь все на безусловный инстинкт, согласно учению товарища Павлова, то отделаешься, как Смирнов. Если скажешь, что был пьян и плохо соображал, это будет вообще прекрасно. Алкоголик – это уже родной. Ты понял?

– Но товарищ Драганов! – Миша не желал ничего понимать. – Я клянусь, что ничего не было, нельзя же признавать, это значит ввести в заблуждение… ведь она про кого угодно так скажет…

– Но она сказала про тебя, – уже без всякой снисходительности припечатал Драганов. – И заявление у меня лежит на тебя. И она повторила при свидетелях. Пойми, это совершенно неважно, виноват ты или нет. Когда-нибудь ты это поймешь. Считай, что это входит в обязательные требования. Что когда-нибудь любой должен оказаться виноват и с готовностью принять. Тебе ясно? Ты же не будешь прятаться, когда тебя призовут? Вот считай, что тебя призвали. Каждый должен быть готов убить врага, когда это надо, и прикрыть собой командира, если надо, и заткнуть пробоину своим телом, если надо. И сейчас тебе надо сказать: виноват, я ужасно виноват. Это каждый должен уметь делать, и ты плохой комсомолец, если не умеешь. А приставал ты там, не приставал… Теперь понятно тебе?

Мише ничего не было понятно, но он кивнул. Он видел, что почему-то неприятен Драганову и что весь этот разговор его тяготит – потому, вероятно, что Драганов был не сволочь и не получал удовольствия от расправ. В действительности же он был Драганову неприятен именно тем, что не желал сознавать очевидного; что с точки зрения Драганова человек, не желающий признавать себя виноватым, был дезертиром и нарушал собой высокий смысл игры. Эта игра Драганову тоже не очень нравилась, но в ней был смысл или, верней, отсутствие смысла, почти ветхозаветная торжественность. Миша же пошлыми ссылками на свою невиновность вносил в эту ситуацию нежелательную рацею. Ломоносов, главный предмет его занятий, – он-то все понимал и при виде северного сияния не задавал лишних вопросов, а сразу начинал сочинять о Божием величестве.

Песчинка как в морских волнах, как мала искра в вечном льде. Вопрос «Но где ж, натура, твой закон?» является в этих обстоятельствах риторическим. Зато смотри, какой у меня левиафан. Почему все виноваты, а ты не виноват? Кто сказал тебе, что ты не виноват? Пожалуй, следовало бы тебе объяснить кое-что. Но Мишу было жалко, и Драганов искренне пытался его вытащить – вопреки собственному настроению и здравому смыслу.

– Короче, Гвирцман, – сказал он. – Мое дело – дать тебе разумный совет, а твое дело – послушаться. Пойди подумай. Послезавтра будет собрание, и лучше тебе за это время подготовиться. Если будешь трепаться – пеняй на себя. До свидания.

Послезавтра! – о, это была отдельная мука. Если бы завтра, а еще лучше сразу! Были друзья, тогда казалось – настоящие, и Миша мог бы рассказать им, но Драганов рискнул собой, пытаясь его спасти (так это ему казалось), и он не смел подвести секретаря. И что было рассказывать? Что он не приставал к Крапивиной? Смерть чиновника! Пойти к Крапивиной? Но Миша и представить этого не мог. Это было унижение, хуже унижения. И главное – он до конца не верил. Она не могла.

Можно было, конечно, поговорить с ней начистоту, пусть бы она не брала назад заявление, черт с ним, посмешище так посмешище. Но она по крайней мере объяснила бы ему, чего хочет. Странно: Миша и тогда еще, накануне собрания, больше беспокоился о том, что думает и чего хочет Валя, и зачем она все это затеяла. Ему и в голову не могло прийти, конечно, что будут какие-то последствия. Даже не пожурят, все выяснится. Ведь он ничего не сделал. Он сам не понимал, что существует уже в больной логике: постоянно оправдывается перед невидимыми милостивыми государями. Милостисдари! Ничего не было! Он, конечно, не выдержал бы и подошел, появись она в институте накануне собрания. Но она не пришла, и Миша кипел в собственном соку. Обсудить ситуацию было не с кем. Никаких объявлений не было. Хотели врасплох, чтобы никто не успел подготовиться. Настало девятое сентября, и к этому дню Миша почти уговорил себя, что все это сон, бред, ничего не будет, в крайнем случае сделают замечание. Он с детства, когда бывали неприятности, словно уплывал от них, прятал голову под крыло, воображал себя в другой стране, в полной недосягаемости.

Комсомольское собрание было объявлено после четвертой пары. В ИФЛИ курсы были небольшие, и потому собрания бывали общими для всех возрастов. Но

клеймили на них редко – на Мишиной памяти только Соломину, за утрату бдительности (отец проворовался и сел, она не желала отрекаться. Но отец ее в самом деле был скользкий тип, и хоть она не отреклась, что пристойно, но вела себя до разоблачения с откровенным и глупым чванством).

Под сборища отведена была пятая поточная аудитория, огромный желтый амфитеатр торжественного античного вида. Здесь читалась новейшая история. Теперь она здесь делалась. Никто не догадывался о поводе. Пересмеивались. Зашли несколько преподавателей, главным образом аспиранты. Миша с отвращением заметил Евсевича – тот, конечно, не мог упустить такого случая поквитаться. Потом он увидел Валю, которой не было на занятиях, – пришла перед самым собранием: она сидела одна на предпоследнем ряду, глядя прямо перед собой с выражением решительным и несчастным. Миша тоже сидел один, а не с Борисом и компанией, как обычно. Но она выглядела такой затравленной, словно обсуждать собирались ее, – да так оно, в сущности, и было.

Ее заставили, догадался он, но кому он до такой степени помешал?

– Товарищи, – сказал Драганов высоким измывательским голосом, выходя к трибуне. – Я попросил вас собраться, чтобы экстренно отреагировать на жалобу комсомолки Крапивиной. Вдова… подруга нашего студента Николая Тузеева, павшего в бою под Суоярви, подверглась домогательствам в грубой форме со стороны нашего студента, нашего товарища. – Он сделал паузу, чтобы каждый в ужасе успел себя спросить: неужели я? Но нет, и в мыслях не было! – Михаила Гвирцмана.

По амфитеатру пронесся вздох, точней, выдох: от Гвирцмана никто не ждал насилия, и, следовательно, ничего серьезного. Миша стыдно заулыбался, покраснел и подавил желание раскланяться. Сойферт ему даже подмигнул. Могло обойтись, могло.

– Я не буду просить комсомолку Крапивину поделиться обстоятельствами. Поверьте, они имели место, ситуацию я изучил. Мы заслушаем товарища Гвирцмана, и он лично нам все изложит. Предлагаю высказываться по существу вопроса.

– Какое существо? – закричали с мест. – Мы ничего не видели!

– Гвирцмана надо поощрить! – крикнул кто-то дурашливым голосом. – Он пренебрегает женщинами, это обидно!

– Я хотел бы призвать к серьезности! – пропел Драганов, словно готовясь в любой момент перевести судилище в фарс. – Товарищ Крапивина считает себя оскорбленной!

– Выслушать Крапивину! – крикнули несколько голосов.

– Товарищи, я не знаю, насколько удобно… Вы готовы высказаться, товарищ Крапивина? – спросил Драганов предупредительно.

– Я готова, – сказала Валя и встала. – Позвольте мне с места!

– Разумеется, – закивал Драганов, – разумеется.

– Третьего числа, – сказала Валя и замолчала. – Сего года, – добавила она. – Мы были у Клары Нечаевой. Там все немного выпили. Сильно не выпивали.

По амфитеатру снова прокатился шум одобрения.

– Так всегда бывает, когда недостаточно, – крикнул тот же шут.

– Но некоторые потеряли контроль, и вот Гвирцман, – сказала Валя и опять помолчала. – Во время танцев. Позволил себе. Нас никогда не связывало ничего. Я вообще ни с кем, ничего не позволяла. Как вы знаете. Но Гвирцман неожиданно. Он ни о чем меня не предупредил.

– Что же он так! – крикнула, кажется, Саша Бродская.

– И вот, – в час по чайной ложке цедила Валя. – Он попытался поцеловать меня, я уклонилась. Он попытался меня обнимать, я еще уклонилась. Было замечено, обратили внимание. Про меня подумали я не знаю что. Я хотела дать пощечину, но удержалась. Он сам понял. И поскольку я считаю, что это аморально, то мне бы хотелось осудить. Чтобы осудили все.

– Какая-то она прямо уклонистка, – шепнул Мише Полетаев, перегнувшись сзади.

– Ну, товарищи, вы теперь все слышали и можете высказываться, – предложил Драганов.

По-школьному подняв руку и не дожидаясь разрешения, встала Голубева, вся красная, порывистая, с вечным гниловатым запахом изо рта. Миша был уверен, что она собирается его защитить, и ему стало стыдно, что он вспомнил об этом запахе.

– Вот я слышу сейчас смешки, – начала Голубева, словно еле сдерживая рыдания. – А ведь, товарищи, мы непонятно над чем смеемся. Это с домостроя идет неуважение к женщине, и все эти разговоры, что если женщина говорит нет, то это значит да. Я вижу, к сожалению, и в нашей среде такие явления. У нас, у которых должен быть, казалось бы, новый быт, на двадцать третьем году революции, у нас самая разнузданная жеребятина. Это не мещанство даже, это люмпенство, товарищи. И то, что так называемый поэт позволяет себе… я лично никак не ожидала. Но если задуматься, товарищи, то я ожидала. Я должна была ожидать, потому что такие проявления я вижу. И я знаю, что многие девушки просто стыдятся заявить. А я считаю, что тут нечего стыдиться!

– Долой стыд! – крикнул шут, но никто не засмеялся: дело принимало серьезный оборот.

– Разрешите мне, – сказал Круглов, юноша серьезный и действительно круглощекий, похожий на Дельвига – апатичный, но способный на внезапные резкости. – Мне представляется, товарищи, – сказал он, почесываясь, – что мы несколько, э, полезли не в свою сферу. Еще Энгельс предостерегал от вынесения частной жизни на общественное рассмотрение.

– Это где же? – спросил кто-то с места. Миша подозревал, что Энгельс ни о чем подобном не предостерегал и даже не думал, ему в голову не могло прийти такое мероприятие на двадцать третьем году диктатуры пролетариата, но у Круглова были ссылки на большинство полезных цитат, а если надо было, он не затруднялся с изобретением нужного высказывания.

– В «Происхождении семьи, частной собственности и государства», – отчеканил Круглов. – Там прямо сказано, что вопросы личной жизни не должны рассматриваться в публичных собраниях. Мораль не формулируется большинством голосов. Я там, так сказать, не присутствовал, лампу, так сказать,

не держал. Мне кажется, что товарищ Крапивина поступила бы мудро, если бы она лично обсудила ситуацию с Гвирцманом, возможно, даже дала бы ему пощечину, от которой так мягкотело уклонилась, и мы не должны были бы сегодня тратить время на порицание поцелуя, вдобавок, сколько можно понять, несостоявшегося.

Круглова любили, кто-то даже зааплодировал. По нему было видно, что он может так себя вести, что ему разрешили, а человека, которому разрешили, всегда видно, даже если он сам себе все позволил. И после этого все могло рассосаться, потому что Драганов – Миша ясно это видел – и сам хотел, чтобы обошлось. Он готовился уже подвести итог, вынести порицание, призвать крепить и все такое. Но тут встал Никитин, и разразилось то, о чем Миша и теперь не мог вспоминать без отвращения.

Ждать такого от Никитина было невозможно, чай, не Голубева. Никитин был дерганый, хлипкий, сутулый человек, с влажными руками и нервным тиком. Его никто не любил, но так, как не любят явление значительное, заставляющее себя терпеть. Он что-то писал, что-то вечно неоконченное, но, по слухам, замечательное. Он читал Джойса. Миша почитал однажды Джойса в одном номере «Интернациональной литературы» и понял, что это искусство верхних десяти тысяч, по большому счету – не нужное никому. Никитин всегда говорил глупости, но со значением. Миша был к нему снисходителен. Никитин был как бы кандидат на вылет отовсюду, самый уязвимый и жалкий из всех очников, но именно эта жалкость защищает надежней любой протекции. Его словно брезговали додавить. И потому ждать удара именно от Никитина было немыслимо – кто такой он сам?! – хотя тут же Миша увидел безошибочную логику: Никитин должен был отвлечь внимание от себя, любой ценой сделать крайним другого.

И он, большим и указательным пальцами, липкими пальцами, непрерывно поправляя очки, заговорил, что шутка, товарищи, безусловно хорошая вещь, но повод-то, если всмотреться, не такой уж шуточный. Я не беру сейчас женский вопрос, личные дела, всю эту жеребятину. Но есть у нас категория людей, которые всегда как бы в стороне, всегда как бы с усмешечкой. Я слышал лично, несколько раз слышал, как наш товарищ Гвирцман иронизировал над менее, возможно, образованными, менее, вероятно, осведомленными студентами. Что же, Гвирцман жил в Москве, он сын, насколько я знаю, врача, он имел возможности обучаться в прекрасной школе. Но смысл нашего института – в обучении тех, кто знает меньше и подготовлен хуже, а кого и когда подготовил

Гвирцман? Кому он предложил помощь? Я слышал только, как он в толпе таких же снисходительных московских выпускников потешался над провинциалами, в том числе над товарищем Тузеевым, которого нет уже с нами. И возможно, – тут Никитин поднял голову и взглянул прямо на Мишу, и это был взгляд торжествующей кобры перед броском, – возможно, стихи товарища Тузеева были действительно не так совершенны. Как у Гвирцмана, скажем, который владеет техникой. Владеет, владеет, что там. Отдадим ему должное. Но сказать ему нечего, потому что жизни он не видел и видеть не хочет. И когда Тузеев, чьи стихи, повторяю, были, да, несовершенны, сделал шаг вперед и вызвался добровольцем, – в одном этом было больше поэзии, чем во всех грамотных и гладких сочинениях Гвирцмана и его покровителей. (Каких покровителей, не понял Миша, что, что он несет? Он Бориса, может быть, имеет в виду?!) Ведь почему Гвирцман позволил себе откровенно свинский, прямо сказать, поступок? Он потому только это себе разрешил, что действительно считает себя выше – выше закона, коллектива, Тузеева, Крапивиной… И вот эти усмешечки, эта отдельность, этот узкий кружок – насколько все это может быть терпимо? Почему кто-то на основании личной удачливости, по праву рождения, рискну сказать, может у нас…

И понесло, понесло.

Миша какое-то время слушал и пытался понять, потом понял только, что его хотят утопить и что вылезла наконец наружу давняя, тихая неприязнь, которую он все время чувствовал; случалось же ему ощущать взгляды вслед, перешептывания, липкие, как никитинские пальцы. И он не понимал, за что ему все это, а теперь вдруг понял. Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Вот про что была вся эта странная история, такая, в общем, непушкинская, взявшаяся ниоткуда. Ему всегда казалось, что это безделка, а ведь Пушкин всю жизнь чувствовал тайную недоброжелательность. Все на него смотрели с неодобрением, в ожидании, что наконец-то он, звездный мальчик, гуляка праздный, сорвется. Вот что сделала Валя Крапивина: она все это вытащила наружу. Миша мог ее не целовать, мог вообще ничего не делать – они бы придрались к тому, что он плохо завязывает шнурки. Вот это, закончил Никитин, вот это я хотел сказать, и это вовсе уже не шутки.

И тогда вылез Гольцов.

О, Гольцов. Самое смешное, что Миша понадеялся. Он подумал вдруг, что сложности вроде скрытой неприязни бывают у липких, линялых, шатких,

которым надо отводить удар от себя, – а Гольцов-то другой, простой и крепкий, и уж он защитит. Уж он скажет. И Миша попытался ему улыбнуться, но, к счастью, Гольцов смотрел в другую сторону.

Он заговорил сразу в своей манере, отсекавшей любые надежды. Ничего человеческого, конечно. Новизна была в том, что они с Никитиным выступали в связке. У них, вероятно, был сговор, и получался в самом деле эффективный двойной удар: один подводил теоретическую базу, другой ударял пролетарским гневом. Непонятно было только, чем им помешал лично Миша – Никитина он не трогал, Гольцова не замечал. Но, видимо, они чуяли, что чем меньше на факультете будет Миши, тем больше будет их. Гольцов рубил просто, по-пролетарски. Я, товарищи, не буду все эти тити-мити, из классиков и всякое (кивок в сторону Круглова). Гольцов был до того нагляден, что явно репетировал, конструировал образ: не могло же такое получиться само, от природы! Самая-то природная природа как раз и есть итог многолетних усилий садовника. Я не буду разводить и подводить, а я так скажу: Никитин совершенно прав. Он совершенно прав, товарищи, в том, что мы имеем тут прямое оскорбление. Не Крапивина оскорблена, товарищи, а мы оскорблены. И я гниль эту чувствовал с самого начала, потому что Гвирцман не в коллективе, и потому что, когда на войну шли, он тоже все это вот хи-хи по углам! И он сейчас, посмотрите, в глаза не смотрит. Он не смотрит сейчас в глаза коллективу и не может ничего сказать! Потому что прямо не умеет говорить, а только все экивоки и хи-хи, и в стихах то же самое. Я, может быть, не шибко культурный – тут он воспарил, и Миша ясно почувствовал наслаждение, почти экстаз, с которым Гольцов накручивал себя, – я из простых, как вон и Крапивина, и мне, товарищи, ее боль понятна. Но с этим барством, понимаете, с этим свысока презрением пора кончать! Это вышло только сейчас наружу, но это было всегда. И вот я даже скажу, пусть некоторые обижаются, пускай, товарищи, не страшно, – я скажу, что чем больше вот эта культурность, весь этот лоск, тем больше там в глубине обычного, товарищи, насильственного хамства! Просто самого что ни на есть хамства. И я предлагаю решительно чистить ряды, потому что мы просмотрели, нам надо самим себе сказать, что мы просмотрели. Да.

Гольцов долго еще говорил бы, но тут Миша почувствовал, что ситуация переломилась, что он действительно обречен и виноват в этом только сам. Он слишком долго попускал и не возражал. И когда Гольцов в третий раз зашел на тему лоска и барства, Мишу словно пружина вскинула с места, и он закричал: товарищи, что это такое?! Вы вообще слышите или нет, что он несет?

Гольцов в другое время прицепился бы к этой барственной оценке и начал бы рассказывать, что он, конечно, из простых, но это никому не дает права… но он так обалдел от Мишиного вскрика, что упустил инициативу.

– Товарищи! – заговорил Миша, сбиваясь и задыхаясь. – Вот меня упрекнули, что я молчу. Давайте я скажу. Я молчу только потому, что непонятно, как возражать на бред, на то, чего не бывает! Мы можем тут сейчас про любого, про всех… про неучастие, про скрытое хамство… что если человек умеет писать в рифму, то это он от высокомерия… Давайте еще скажем, что мы академиев не кончали! Я не понимаю, кем надо быть, чтобы выступать в стенах своего института, и гордиться невежеством, и от имени этого невежества осуждать знание! Но это ладно, это личные проблемы Гольцова, который тут с тайной радостью сводит какие-то непонятные мне счеты. Помолчите, Гольцов, мы вас слушали (тут он точно перешел на мы, кое-чему выучился в институте, помимо античной философии). Я про другое. Я про то, с чего все началось. Валя Крапивина, ты-то что молчишь, пока они тут тебя полощут? Ведь это все о тебе на самом деле. Вот я спрашиваю тебя при всех: зачем, почему ты выдумала все это? Ведь не было ничего. Ведь сейчас, при всех, ты не сможешь мне соврать. Да, я к тебе подошел, я с тобой говорил, мы с тобой танцевали. Не может же комсомольское собрание постановить, чтобы ты ушла в монастырь. Мы с тобой говорили, но скажи при всех: какое насилие? О чем вообще речь? Что мы все тут творим такое? Я ничего не говорю, у меня могут быть недостатки какие угодно, и я, может быть, действительно позволял себе кого-то критиковать, и меня критикуют, и это нормально. Мы здесь не для того, чтобы всех хвалить, особенно тех, кто гордится своей бескультурностью. Но Валя! Что ты молчишь? Скажи ты сейчас, скажи всем!

Валя встала, дико осмотрелась, потом подхватила сумку и стремительно выбежала из аудитории. Мише казалось, что ее каблуки стучат невероятно громко. Ее лицо пылало, но она не плакала.

– Гвирцман! – заорала Голубева, еще более красная, чем во время собственной речи. – Тебе мало, что ты к ней полез, ты еще здесь ее довел!

Половина зала зашумела в том смысле, что позор, довел, а другая – в том смысле, что никто никого не доводил.

– После того не значит вследствие того! – выкрикнул тот же шут уже вовсе не к месту.

– Товарищи! – запел Драганов, чувствуя, что ситуация вырывается из-под контроля и сваливается в скандал. Он на мгновение сделался серьезен. – Товарищи, тихо. Мы выслушали уже достаточно много. Мне кажется, сказаны были важные, достойные слова. Действительно, Гвирцман себе позволил… и мы действительно не должны… мириться с некоторым, как было сказано, неучастием, некоторым высокомерием… Но давайте не будем снимать ответственность и с себя, товарищи! Вот выступление Владимира Гольцова, талантливого, между прочим, поэта, которого нельзя не поздравить с недавней публикацией его совершенно справедливого письма в «Литературной учебе». И не нужно ему принижать себя, говоря: я, мол, из простых. Деление на простых и сложных осталось в дореволюционной публицистике. Так вот, Владимир, а лично вы как старший товарищ многое ли сделали для того, чтобы ваш товарищ Гвирцман был вовлечен в общественную работу? Вы слушали, как он будто бы хихикал, хотя я вот тоже несколько раз слышал, как вы хихикали, но это же не делает вас врагом. Но почему вы не подошли к нему прямо, а дождались момента, когда мы будем обсуждать Гвирцмана публично? Может быть, тут есть какая-то особенность вашего характера?

Он еще некоторое время утихомиривал всех, то ли всерьез, то ли насмехаясь, – но Миша, чьи нервы страшно напряглись и чутье обострилось, ощущал, что в аудитории все было сложно. Витало в ней и некоторое облегчение от того, что акт каннибализма, кажется, не случился, и легкое разочарование от того, что замах был так хорош, а удар оказался вполруки. Оле, оле, мы не увидим казни! – как кричали прокаженные в одной пьесе: у них отнимали последнюю радость. И потому он не ждал спасения от Драганова, хоть и видел, как Драганов старается: он явно заговаривал стихию, которая могла сожрать и его. Так что когда примирительная речь завершилась предложением ограничиться для первого раза строгим выговором, и тогда другого раза не будет, – Миша понимал, что этим не кончится; и, когда встал аспирант Выборнов, все стало понятно. Выборнов бывал на Халхин-Голе, имел сухое желтое лицо, раннюю седину и репутацию хмурого вояки, гвардейской косточки.

Он сказал, как Миша и предполагал с самого начала, что для исключения из комсомола, вероятно, пока еще оснований нет. Потому что такое исключение сразу лишило бы человека надежды, а Гвирцман, конечно, не безнадежен. Но, как мы видели из его сумбурного тут выступления, он ничего не понял. И для того, чтобы он понял, ему надо, мне кажется, окунуться в жизнь. Скажу на примере, мне более понятном. Вы знаете, наверное, что я отчасти заслужил свою кличку Сапог. Я связал свою жизнь с армейской темой и знаю, что делает с

неподготовленным человеком армия. Я наблюдал, можно сказать, лабораторным образом превращение невоенного и, скажу даже, демонстративно разгильдяйского человека (он так и сказал, этими самыми словами) в настоящего бойца. Ему достаточно несколько раз было побывать в обстановке, приближенной к боевой. И если у нас нет пока возможности поместить Гвирцмана в обстановку боевую, ему имеет смысл на какое-то время окунуться все-таки в жизнь простых, как он выражается, людей. (Миша сроду так не выражался, но тут уж возражать стало бессмысленно.) Я думаю, что собрание поступит наиболее верно, если ограничится действительно выговором, но рекомендует руководству института временно с Гвирцманом расстаться. Через какое-то время, пусть год, пусть, возможно, полгода, он сможет нам доказать, что понял свои ошибки. Или не понял, не осознал. Что ж, тогда могут потребоваться более радикальные средства. Но пока, мне кажется, ему и самому будет неловко смотреть в глаза своим товарищам после сегодняшней, прямо скажем, истерики и недавнего своего проступка.

Он это все выговорил не то чтобы четко, а как бы скучно, несколько скрипуче, – эта постоянная скрипучесть странно сочеталась с его напыщенными балладами о пограничниках, любящих своих собак больше жизни, больше сна и пищи; но эта скука и связывалась в общем сознании с будничным геройством, и после него спорить было незачем. И все с мрачным удовлетворением согласились: рекомендовать к исключению. И даже ни малейшей неловкости – потому что хотя Миша и не был ни в чем виноват, а все-таки ясно же, что так для него хорошо. И эта эмоция – трудное решение вопреки нашей человеческой слабости – очень всем польстила; и принято было единогласно.

В коридоре Драганов отвел Мишу к третьей поточной аудитории.

– Ну гляди, Гвирцман, – сказал он доброжелательно и без тени обычной своей издевки. – Я сделал все, что мог, ты сам видел. Не могу сказать, что ты вел себя неправильно, потому что правильного поведения тут не было. – Он взял его за рукав. – Через полгода вернешься, восстановишься, ты сам все слышал. Остальные тоже поняли. По-моему, расплатился ты скромно. Поработаешь, встанешь на учет, принесешь характеристику с производства, будешь исправившийся. Они тут исправившихся очень любят и больше не трогают. Понял? Как говорил мой дедушка, замечательный, между прочим, историк римского права, когда его обсчитывали по мелочи, – спасибо, Господи, что взял деньгами. Иди.

И Миша пошел.

По дороге его несколько раз нагоняли и пытались объясниться, и у него хватало твердости все эти объяснения отметать. Хватило у него сил даже встать после почти бессонной ночи, во время которой он чего только не передумал, и даже соблазн самоубийства несколько раз с горьким смехом прогнал, потому что уж очень это было безвкусно, а теперь можно было позволить себе все, кроме безвкусицы: только не это! И, подставив голову под ледяную воду, он пошел с утра в институт, страшно бледный и гордый, – но за сто шагов до цели развернулся и сбежал. Миша знал, что на него будут смотреть и сочувственно, и злорадно, а главное – и сочувствующие, и злорадствующие будут ужасно счастливы, что все это приключилось не с ними; ясно, что с кем-то должно, и он, может быть, действительно отделался испугом, но он занял именно ту нишу, которая пустовала. Если отовсюду пачками вылетали студенты за неверное слово или ошибку в дате, почему ИФЛИ должен был оставаться неприкосновенным? Нет, они нашли у себя пятую спицу и белую ворону, и вычистили поганым железом, каленой метлой.

Весь день он шатался по Арбату, заходил к букинистам, просматривал древние подшивки, все это без цели, без смысла. Как всякий человек на переломе, и скажем честно – как человек под ударом, он загадывал поминутно. Открывалось все на какой-то ерунде: доставлена египетская мумия, где ели сонные в тумане (представил, как сонные едят, и нашел в себе силы усмехнуться), в отчаянии бросился на трупъ. Трупъ с твердым знаком был почему-то особенно смешон, словно за ним тянулся хвост земного существования. Люди, заходившие к букинистам, были старорежимные, точно выпавшие из времени, и он теперь был такой же. Выпадать из времени оказалось не страшно, все чувства притупились. Одни глядели на него сочувственно, словно он теперь пополнил ряды прокаженных, а они всегда радуются прибытку, хотя и слегка презирают новичка; другие откровенно насмехались, словно и падение его было ненастоящее, неполное. Конечно, он все это додумывал. Конечно, им не было до него дела.

Вечером зашел Полетаев, они вышли побродить и поговорили. Когда он возвращался домой, было чудесное сиреневое небо, листья кружились под фонарями на Чистых прудах, и он подумал: что же, обойдется. Даже и полезен такой опыт изгойства. Одно – надо чем-нибудь себя занять; но, может быть, и полезно иногда постоять пустым, подождать, к чему потянет. Во дворе ему кивнул сосед со второго этажа, шофер Леня. Раньше он работал на ЗИСе и был

мастер на все руки. При любых неполадках с водопроводом или еще с чем бежали к нему. Леня этот был улыбчив, всегда спокоен, и встреча с ним тоже показалась Мише хорошим знаком.

На третий день после собрания он заставил себя зайти в институт, увидел приказ об отчислении, встретил в коридоре секретаршу, которая сказала, что он должен зайти и получить копию; предстояло еще сняться с комсомольского и воинского учета. Он сделал и это. К счастью, Драганова в комитете не было, учетную карточку выдал ему вполне безличный и безразличный человек. Куда теперь поставиться – надо было решить быстро; слишком долго пребывать в пустоте не мог никто. А хорошо бы пожить неучтенным, чтобы никто не учитывал тебя. Он мог, конечно. Он, конечно, мог. Конечно, можно было бы поговорить в деканате. И, может быть, как-то бы снизошли. Как-никак он был на третьем курсе и на хорошем счету. У него не было ни одного хвоста, его любили на кафедре иностранной литературы, что, пожалуй, тоже служило сигналом. Лучше бы его любили на кафедре народного творчества. Но он ни о чем не стал просить, никого не отлавливал, хотя Евсевич и намекал. Но лучше доскрести до конца, чтоб не осталось никакой грязи, никакого гноя. Он уйдет и вернется через полгода совершенно очистившимся.

Дома он все рассказал только через три дня. В самых черных красках расписал Валю, не смог отказать себе в этом, хотя не прятался и от собственной вины. Да, пытался поцеловать, но ничего не было. Послушай, но это какой-то старорежимный суд чести, сказал отец. Можно подумать, что ты бросил ее с ребенком. Прости, старик, возразил ему Миша (это обращение бытовало у них чуть ли не с Мишиного шестого класса), прости, но наша контора вообще довольно старорежимная. И в каком-то смысле это даже правильно. Суд чести, лицей. Я думаю иногда, что хорошо немного побыть вне коллектива. Хорошо, сказал отец. Я рад, что ты рад. Но теперь, конечно, тебе надо куда-то устраиваться. Поспрашиваю, ответил Миша, попробую. Возможно, куда-то литработником. Нет, ты прекрасно понимаешь, что это не то. Я никогда тебе не помогал, продолжил отец, и голос его постепенно набирал гордости, никогда не подталкивал, хотя ты знаешь, что, если бы пошел по медицинской части… были, были возможности. Но теперь уж позволь. Теперь уж, хочешь ты или нет, но самое время тебе поработать санитаром, образования это не требует, а стаж даст. У нас как раз всегда вакансия. В прозекторской? – спросил Миша. Отцу понравилось, что он может шутить. Нет, отчего же в прозекторской. Хотя и туда придется заглядывать, каталку возить – дело такое. Работа неквалифицированная, подсобная, но как раз такая, после которой на женщин даже в твоем возрасте смотреть, пожалуй, не захочется. Словом, в институте

сочтут, что ты исправился.

Миша терпеть не мог медицину. Он понимал, что это дело благородное, необходимое, куда более важное, чем вся словесность, вместе взятая… хотя еще вопрос, что нужней на смертном одре: камфора, которая все равно ничем уже не поможет, или вспомнившееся напоследок «Прозвенело в померкшем лугу». Но польза ведь не принуждает к любви, любовь как раз избирает себе предмет, далекий от всякой пользы, – как случилось и с Валей Крапивиной, которую он всячески гнал из памяти. Больница была отвратительна своими запахами, и вот чудо – от отца никогда не пахло больницей; там кормили ужасной едой, там умирали. Собственно, лежали там те, за кем не могли устроить домашнего ухода – страшные одиночки, никому не нужная, неряшливая старость. Миша понимал, что все это детские впечатления, оставшиеся от тех дней, когда отец брал его на работу: один раз, чтобы показать коллегам, а другой раз – проконсультироваться насчет миндалин, которые, о радость, решено было не удалять. Все были с ним ласковы, но вид больницы невыносим. Наверное, надо было теперь окунуться туда, это была расплата за высокомерие, за хихиканье. О, за многое. Но как же он этого не хотел. Впрочем, перспектива мыкаться по московским редакциям была еще унизительнее. И Миша согласился на печальную участь санитара (он сразу решил, что «медбрат» ему нравится больше), медбрата, мечтая о том, что судьба, уж верно, воздаст ему сторицей.

Отец работал в Склифосовского, а Мишу устроил в Боткинскую. Все врачи друг друга знали и держали круговую поруку. Когда отменяется совесть, остается профессия.

* * *

7

Миша был, скорее, неприятный человек – и знал это. Он не хотел бы писать книгу с таким героем. Хорошо писать о герое, который приятен, о его любви к славной девушке, любви, похожей на дружбу. О его друзьях, не готовых каждую минуту к предательству. О здоровой зависти к живым, а не о болезненной – к мертвым.

– Эти мне еврейские маленькие Пушкины, – говорил про Мишу дядя Иван, и Миша сразу понимал, что он и есть маленький еврейский Пушкин, пестовавший это сходство, но где у Пушкина было дворянство и пять веков истории, там у Миши была родительская библиотека, пятьдесят томов издательства Academia. У Пушкина была свобода обращения с материалом, а где Мише было взять эту свободу, когда он и материала не знал? Утешало отчасти то, что материала больше не было, от него остались только эти самые пятьдесят томов Academia. Двадцатый век отменил все, Германия сейчас жгла книги. Материалом была Валя, и Миша не знал, как с ней быть. Валя осталась единственным материалом, который не упразднен. И на ней-то он так ужасно погорел, мальчик, которому не нужно было казаться хорошим, чтобы себя уважать.

Миша не хотел казаться хорошим. Этим он отличался от сверстников, не от большинства, а от всех. В сущности, только это и давало ему надежду, что из него получится писатель, не обязательно поэт, но в любом случае пониматель всего этого тонкого устройства. Что устройство есть, он понимал, и оно никогда не казалось ему слишком сложным. Как говорили в школе, когда учили надевать химзащиту, – «нормативы божеские». В жизни тоже были нормативы божеские, можно было разобраться, если отмести некоторые преграды в самом себе. И желание казаться хорошим он почти отмел.

Работа санитара предполагала удобный график: понедельник, среда, пятница. И хотя вторников и четвергов, даже вместе с выходными, не хватало, чтобы вытеснить из головы больничные зрелища, четыре дня в неделю он все-таки принадлежал себе. И непонятно еще, что было мучительней, куда было деть это внезапно высвободившееся время: не роман же писать, в самом деле. Все начинающие авторы ждут, что появится у них свободный день – и они тут же возьмутся за роман; но в том и парадокс, что роман можно писать только урывками, когда текст вырывается со страшным напором, а когда у тебя есть время и даже комната – пиши не хочу! – возникает именно не хочу. Неловко было смотреть по утрам на детей, идущих по бульвару в школу номер двадцать (сам он учился на Покровке, и с двадцаткой они враждовали – доходило и до побоищ). Неловко было сидеть за столом перед тетрадью и что-то в ней карябать, пока мать, стараясь двигаться бесшумно, убирала в комнатах. У всех в квартире были дела. Мать иногда занималась с маленькой дочкой соседа Лени, умненькой понятливой девочкой, тихой и всегда удивленной. Она все понимала и всему удивлялась. Мать рассказывала ей те же сказки, что когда-то Мише, – про лесных человечков, про говорящую собаку Мику. Слушать это было невыносимо, грусть и злость душили его. Он убегал и шлялся по центру, и в этих шляниях случались забавные встречи.

Он принадлежал теперь к деклассированным элементам, или к лишним людям, или, если хотите, к бывшим. Но в бывших и таилось самое интересное, потому что большинство бодро марширует к финалу, а бывшие умудряются этот финал пересидеть и затеять на руинах что-то новое. Октябрь был теплый, Миша много ходил и не мерз. Сначала проговаривал про себя бесконечные обвинительные или защитительные речи, которых не сказал на собрании – слава Богу, потому что все они могли ухудшить его участь. После начал размышлять – иногда вслух, да и кому было его слушать, например, на Воробьевых горах? – о лишних людях; ему пришло в голову, что в каждом тексте русской литературы есть дуэль сверхчеловека с лишним человеком, Печорина с Грушницким, Базарова с Павлом Петровичем. А все это потому, что участь лишних и новых – одна: ими все пренебрегают. И тогда они, маргинальные люди, устраивают дуэли.

В больнице было, пожалуй, даже интересно. Для будущей прозы много чего можно было подсмотреть. В умирающих что-то было, а в мертвых – уже ничего, и это наводило, хочешь не хочешь, на мысль о душе. Были любопытные казусы – лежащая в параличе Соколова, про которую никто толком не знал, понимает она что-то или уже нет, и ее муж, сидевший около нее целыми днями и гладивший ее руку, а иногда читавший вслух. Соколова дышала самостоятельно, но питалась через капельницу. Иногда мужу предлагали отключить ее от питания, но он отказывался. Он был уверен, что она все понимает. Конечно, слишком долго это продолжаться не могло, но Соколова была старая большевичка, и ее пока терпели. Соколов же не был большевик, он был бухгалтер, но бухгалтеры имеют иногда поразительно глубокие чувства.

Миша насмотрелся на умирающих, и его презрение к смерти несколько поколебалось. Раньше он думал, что принимать в расчет смерть вообще не стоит, что она не наше дело. Теперь он понимал, что в жизни большинства – скажем, девяти десятых – она вообще была единственным событием, главней рождения, ибо в рождении ничего от нас не зависит. И умирать лучше всего не с гордо поднятой головой, в этом бывает ужасный моветон, а с покорным сознанием неприятной работы, которую надо исполнить. Кичиться совершенно нечем. Достоинство не в том, чтобы гордиться и бодрячествовать, а в том, чтобы сделать все абсолютно естественно. Как ни странно, все толстовские разговоры о правильном умирании простых людей были глупостью умного человека, подгонявшего мир под свои взгляды. Так называемые простые люди умирали хуже всего, в истерике, в озлоблении, в непрерывных капризах, ибо у них не было никаких механизмов защиты от страха. Тише всего умирала низовая интеллигенция, иногда – старики из бывших, сохранившие веру. Легче все-таки

было тем, у чьей постели кто-то сидел. Вообще же умирали довольно часто, и Миша понял, что от медицины, в сущности, толку мало – прав был Чехов: ерунда сама пройдет, а прочее неизлечимо. Отец любил повторять эту фразу. Больница нужна была не больному, а родственникам, получавшим право думать, что они сделали всё, что могли.

– Дело твое, в общем, очень печальное, – сказал он отцу, не решаясь вымолвить, что это дело обреченное.

– Но все остальные еще печальней, – возразил отец. – Я хотя бы имею отношение к самому главному. – И добавил: – Ты теперь, кстати, тоже.

– Не уверен, что это главное, – сказал Миша. – Вот если бы существовала профессия, помогающая подготовиться к смерти… Но это, как ты понимаешь, не литература и подавно не богословие.

– Химия, – фыркнул отец, и больше они об этом не говорили, но тайно сблизились.

Постепенно Миша оттаивал, подползала тоска по сборищам – у Бориса, у Нины, у Сергея. Но он, конечно, накрепко запретил себе туда ходить. Ведь они все предатели. Они предали его легко, без сожаления. И будем честны: в последнее время ему было там, в этом кругу, тесно. Политические разговоры. Попытки искреннего раболепия, без лести, от чистого сердца. Чтение газет между строк, извилистые рассуждения об Англии, о стравливании с Германией, о развороте на Восток. Почему-то о Турции, хотя какая Турция? Тихоголосые писчебумажные девушки, делающие вид, что им интересно. Да Крапивиной спасибо надо сказать, что он выпрыгнул из всего этого. Разве он не дерзил им всем – в тайной надежде, что они его сами выгонят? «Зеленая лампа», любомудры, кружок дозволенной избранности, поиски подлинного марксизма, политинформации Бориса, якобы со знанием тайных пружин. Дикое самодовольство. Ему, конечно, очень нравилась роль скептика. Он вообще теперь стал во многом себе признаваться, находил в этом неведомое прежде наслаждение – все додумывать до конца. Да, ему нравилось, что было куда пойти. Что к его разборам прислушивались. Что ему было кому почитать. Но разве он не догадывался, насколько все это хрупко, насколько все они готовы к сдаче? Себя ли, другого ли – какая разница? Вся эта декабристская пошлость, которую чувствовал один Грибоедов (Пушкин – нет, в Пушкине не было той желчи, он по доброте своей вечно умилялся): чуть надави – пойдут писать друг на друга подробнейшие,

верноподданнейшие досье. Миша понимал, что им его не хватает, что они его, вероятно, ждут. Но он, зачумленный, запретил себе. Больше никогда. И хотя знал за собой отходчивость, которую презирал как признак слабости, а не доброты, – прошло две, три недели, а он был тверд: никаких сборищ, никакого Карманицкого переулка.

Конечно, все это было очень славно. Все эти сидения в тесном кругу, восхищенные женские взгляды – да, женские, уже не девчоночьи, – слабое вино, тени веток на обоях, одуряющие весенние запахи в форточку, папиросные гильзы со следами помады, и иногда, выглядывая в окно, в фиолетовый вечер с одним из первых апрельских дождей, он чувствовал такую полноту счастья, какой, он знал, не будет уже никогда. Слагаемые этого счастья были просты и даже пошлы: фонари, ветки, кислый рислинг, всякие глупости под гитару, стыдно перечислить; но без целительной дозы этой пошлости не бывает ничего великого. Блажен, кто смолоду. Теперь он своевременно выброшен из всего этого, теперь ему предстоит окунаться в жизнь и взрослеть в одиночестве. Но иногда, перетаскивая тюки зловонного белья или отвозя в прозекторскую очередной труп, он думал: Валя Крапивина, сволочь, мразь, что же ты сделала с моей жизнью.

Но потом он представлял на своем месте любого другого из их компании, из так называемой семерки, и понимал ясней ясного: никто бы не выдержал, никто. Все слишком хорошо о себе думали, а он всегда что-то понимал, только у него хватало презрения к себе и остальным. И хотя ему достало ума понимать, что и это красивость, и это тоже самолюбование, даже, может, большее, чем у Бориса, – он себя не одергивал. Он имел теперь право думать о себе лучше, потому что все прочие преимущества были у него отняты.

И писать он стал иначе, например так:

У меня теперь много свободного времени.

Делать нечего мне,

Как всему беззаботному нашему племени

В безработной стране.

…И был необыкновенный день в конце октября, странный день, очень плохой, как понимал он впоследствии: день, начавшийся с плохого и тоже странного сна.

Такие сны должны сниться убийцам. Он никогда не видел ничего похожего, но, может быть, теперь, когда он сам был виноватым, приплюснутым человеком, когда у него отнято все, вся культура, на которую он привык опираться и на которую не имел теперь права. Такие сны должны были сниться загнанным, тщетно – именно тщетно! – убегающим от преследования. Наверное, это было как-то связано с войной. Ему снился противогаз. Устройство показывал англичанин. Он говорил: сделано так, что нельзя подложить даже спичечного коробка. Почему именно коробка, спрашивал он? А некоторые подкладывают, но в условиях настоящей газовой атаки – смертельно. И он раз за разом погружался в противогаз, но тут же выныривал оттуда. Было невозможно, душно, жарко. Может быть, у вас дыхательный клапан завинчен? – спрашивал англичанин. Дайте мне, я проверю. Да нет же, говорил он, все отлично. Попробуйте. И Миша снова окунался в жар, в задыхание, и в этом противогазе еще надо было бежать. Он побежал сквозь сгущающийся серо-желтый воздух и выбежал вдруг в парк, но в парке все было не то. Листья пожухли – вероятно, под действием газа, – и кое-где валялись серыми кучками бывшие люди, полуистлевшие, вероятно, под тем же действием. И страшно давило, страшно жгло, но снять проклятую маску было нельзя, не то он сам тут же превратился бы в горсть серого тряпья. А потом надоело, и он сорвал маску. Воздух был обыкновенен, даже прохладен. Можно было дышать без страха отравиться. Но голос англичанина – его не было видно, он наблюдал откуда-то, – сказал очень холодно, очень серьезно: если вы не хотите играть в эту игру, что ж, вы будете играть в другую игру. Он сказал это по-английски, но при этом совершенно по-русски. Английской была интонация – разочарованная, высокомерная. Так и сказал: тогда вы будете играть в другую игру. И Миша понял, что это гораздо хуже любого противогаза, хуже даже, чем превратиться в серое тряпье, – но просить о пересмотре было уже бесполезно. Это не могло быть пересмотрено. И он проснулся с таким отвращением к себе, какого не чувствовал даже после собрания.

День был свободный, и он так устал от тоски и мыслей о себе, что решил совсем не думать, просто идти куда глаза глядят. И очутился в районе Новослободской, сел в трамвай, и трамвай понес его довольно быстро неизвестно куда. Миша загадал: раз он весь день шляется, не думая, то, значит, самое время проявиться судьбе, и трамвай привезет его к судьбе. В вагоне не было, однако, ни одной девушки его возраста, вообще ни одного приятного лица. Ехали среди рабочего дня либо старики, либо угрюмые люди сельского вида. Что они делали в Москве в это время? У некоторых были грязные рогожные мешки. Что могло быть в таких мешках? Человеческое мясо хорошо возить в таких мешках. Миша, кажется, заболевал, ломило виски, и горло побаливало. Обычная осенняя простуда, но теперь – очень некстати. С простудой можно ходить в институт, но

не таскать тюки. Миша смотрел в окно, там подозрительно рано темнело, места были незнакомые. Казалось, сон продолжается, но все происходило наяву, просто он ехал непонятно зачем неизвестно куда. Город истончался, уменьшался, пропадал. Наконец трамвай остановился на конечной, там делал круг, дальше начиналось поле. Миша оторвался от холодного окна, к которому последние десять минут блаженно прижимался лбом, и увидел, что, кроме него, в вагоне осталось всего двое: согбенная старуха и ражий дядька с баулом. Они сошли и как-то сразу растворились в сыром воздухе, словно их тут ждали и мгновенно подхватили. А Мишу никто не ждал, он вышел из трамвая и шагнул в почти опавший, серо-желтый лесок. Тихо здесь было и пусто, и пахло землей. Небо было низкое и не серое даже, а бурое. Закурить бы, подумал Миша, но он не курил: пробовал и не понравилось. Он прошелся по облетевшему перелеску, чувствуя, что надо повернуть, что вот-вот его засосет воронка пространства, присутствие которой он ощущал иногда: именно так люди и пропадают без вести, и потом никто их не может найти, а выплевывает их это самое пространство за тысячи верст от дома, на какой-нибудь железнодорожной станции, где они ничего не помнят и никого не узнаю?т. Это пространство было от него в полушаге, но он чуял, что надо еще куда-то пройти, сделать еще несколько шагов, а уже потом, возможно, повернуться и со всех сил бежать к трамвайной остановке, к последнему, что связывало его с городом и с жизнью. Он прошел еще метров тридцать и увидел то ли канавку, то ли ручей, и что-то ему подсказало, что перепрыгивать эту канавку не надо, а надо постоять. И точно – он поднял глаза и увидел, что напротив, на том берегу, стоит и в упор смотрит на него Валя Крапивина.

Это, значит, и была судьба. Она изменилась, но не настолько, чтобы не узнать. Щеки втянулись, лицо стало уже и строже, но по-прежнему она носила челку и по-прежнему смотрела с вызовом. Конечно, это была не она, но уж очень похожа. Скорее всего, это была галлюцинация. Если все время думать о человеке, то и начнешь его всюду видеть. Но он-то видел ее не всюду, и на улицах она ему не мерещилась, и на сходствах, как сказано, никто его не ловил. А здесь стояла именно она, подойдя к той же канавке с другой стороны. Скорее всего, это был призрак. И надо было ее окликнуть, заговорить, но он понимал – и она понимала, – что делать этого нельзя. Или она следила за ним, пряталась, ехала в том же трамвае и вышла раньше? Нет, этого никак быть не могло. Он смотрел на нее полминуты, не больше. Потом резко повернулся и быстро пошел назад – бежать было ни в коем случае нельзя, как нельзя бегать от собаки. Если это призрак, то, подобно шаровой молнии, он прицепится к тому, кто создает ветровой поток, в этот поток попадает призрак и может двигаться в нем быстрее, и не отцепится наверняка. Мише в голову приходили сумасшедшие,

никогда прежде не являвшиеся мысли, он и такого порядка слов не помнил за собой. Все было как в бреду, и его знобило. Оглядываться тоже было ни в коем случае нельзя, но спиной, как и положено при встрече с призраком, он чувствовал ясно, что она тоже развернулась и тоже уходит. Но он-то идет к остановке, а вот она куда? Никакой остановки все не было, он усомнился уже в ее существовании. Может, проклятая канавка поменяла их местами, и теперь он идет все дальше в лес, а Валя уже едет в трамвае, приедет сейчас в институт и пойдет на лекцию. Но это был вовсе уж бред, Миша не настолько еще сошел с ума. И тут подошел трамвай, и Миша вскочил в него, словно за ним тянулись руки виллис, и водитель сказал, что здесь входить нельзя, здесь выходят. Входить можно было только напротив, здесь была конечная, а там начальная. На остановке Миша прочитал название: парк Тимирязевской академии. Господи! Это был тот парк, в котором грот, а в гроте убили студента Иванова, того, который стал впоследствии Шатовым; им рассказывал об этом Дурмилов, большой специалист по всякого рода бесовщине. Дурмилов, щурясь, тянул: у этого места дурна-а-а-я слава! Вот, значит, куда его занесло. Трамвай, казалось, никогда не поедет. Но прошло полчаса, и он поехал, и Миша заснул, трясясь на переднем сиденье, а дома начался жар, и от походов на работу он по крайней мере на неделю был избавлен. И три долгих месяца он так и не знал, что это было.

* * *

8

Но странно – после этого дня (потому ли, что ночь темнее перед рассветом?) стало легче и легче, и даже медбратство не было уже так мучительно. Привычка все побеждает, а молодые привыкают быстро. В ноябре он уже не терял аппетита после прозекторской, научился смеяться специфическим анекдотам, перешучивался с кастеляншей Марфой, сочинил даже стишок к семидесятилетию почечного больного Самохина из урологии, и внучка Самохина, очень хорошенькая, робко позвала его заходить, когда деда выпишут. И он записал адрес. Завелась у него и среда, не хуже прежней, потому что в больнице лежали всякие люди, не только никчемушные старики, но и вполне свойские парни, ровесники. Поскольку Миша так и не закурил, важная возможность для знакомств была утрачена, но пачку папирос астматику

Колычеву он все же принес. Константин Колычев, двадцати шести лет, был совершенный инвалид, в чем душа держалась: ему регулярно грозились отнять ногу (и всякий раз спасали), кожа у него была именно та, что называется пергаментной, лицо треугольное, дробящееся и рассыпающееся от постоянных кривых усмешек. А похож он был то ли на политического ссыльного в Якутске десятых годов, как их описывали в партийных мемуарах, то ли на так и не выросшего мальчика из горьковских очерков про всякие подвальные страсти-мордасти. По вечерам Колычева лихорадило, он не мог лежать, ему хотелось двигаться и говорить. Он шатался по коридору на костылях, задирал сестер, на него не обращали внимания – потому, вероятно, что уже списали; но он был живуч.

– Санитар, – позвал он однажды. – Вы, вы. Подойдите. Вы мне можете морфия достать?

Про морфий было, конечно, сказано для затравки разговора. В коридоре были больные, да и какой морфий, откуда?

– Вы производите впечатление юноши просвещенного. Как вас сюда? Вы действительно сын Гвирцмана из Склифа?

Миша не отрекся.

– Почему же он вас сюда послал? Набираться опыта? Это хорошо, полезно. Врачу на войне всегда лучше.

Миша тогда не стал расспрашивать его про войну, хотя Колычев заговаривал о ней часто. Это была его идея фикс, пунктик. У легочных больных, знал Миша, такой пунктик есть непременно, и еще они часто озабочены эротикой – какие-то бугорки в мозгу. Он об этом читал в одной из отцовских кабинетных энциклопедий. Но про эротику Колычев с ним пока не разговаривал, а про войну – случалось. Собственная обреченность, видимо, заставляла его фиксироваться на чужой. Он был из тех, кому можешь рассказать про себя все: потому, наверное, что никому не расскажет, умрет не сегодня завтра. Но Колычев не умирал, и его даже выписали. Он позвал Мишу заходить, и Миша зашел.

Тут стал ему открываться невероятный мир, который был вроде и близко, но никто о нем не знал, потому что все ходили по поверхности. Пленка была весьма тонкой, и провалиться не составляло труда. У Колычева собирались совсем не те поэты, которых Миша привык видеть в институте. Читали они явно хорошие, но непонятные тексты, по большей части слишком простые: иногда это были детские стихи, иногда – отрывки прозы, сочиненные словно идиотом, с чересчур простым синтаксисом и непривычными названиями привычных вещей. Это была не заумь, а что-то после зауми, как будто в стране победили заумники и насадили свой язык, но у людей еще оставался прежний, и потому они говорили на странной смеси обывательщины и всяческого дырбурщила. Было понятно, как это сделано, и идея казалась привлекательной, но сам текст не впечатлял, то есть действовал только на ум. Бывал у Колычева кинохудожник, приносивший записки о Средней Азии, где половина слов была непонятна из-за среднеазиатского колорита. Бывал экскурсовод, писавший только в жанре экскурсии, тоном гида описывавший визит в булочную, в Парк культуры, в уборную. Миша не читал ничего своего и в обсуждениях старался помалкивать. Иногда, если Колычев был один, он показывал ему кое-что из ифлийского творчества и стыдно радовался, когда Колычев все это разносил.

– Послушай, какая бесподобная мерзость: «Такая точность, что мальчики иных веков, наверно, будут плакать ночью о времени большевиков»!

– Он писал это честно, – сказал Миша слишком твердо для трезвого, и было, увы, слышно, что он старается говорить именно твердо.

– Ну конечно, честно! – хихикал Колычев, дробясь и рассыпаясь. – Это и есть самое гнусное, что абсолютно честно! Если бы он сказал это за деньги, я бы первый восхитился. Искусство добывать деньги – не последнее и по крайней мере почтенное. А он – искренне! И ему никогда ничего за это не обломится, потому что они по-своему как раз порядочные люди. Они платят тем, кто честно зарабатывает, а не тем, кто хочет дойти до Ганга.

Колычев одной ногой уже стоял за чертой, а потому все, что касалось войны, смерти и неудовлетворенной страсти, было ему близко и родственно. Он в этом понимал. Он все чаще терял сознание и в эти минуты, видимо, что-то видел.

– Война будет обязательно, – говорил он, – и скоро. Без войны из всего этого нет вовсе никакого выхода. И заметь, что они подбираются с разных краев. Он пробовал в Испании, не вышло, там потушили. Все, кто видел эту неудачу, были

виноваты. Он попробовал на Халхин-Голе. Тоже не получилось, потому что взяли и победили, а противник оказался тьфу. Тогда он зашел в Финляндию. С Финляндией было чуть лучше, но здесь, наоборот, тьфу оказались мы.

– Всё глупости, – не очень уверенно говорил Миша. – Если бы так хотели войны, не было бы пакта.

– Дурак, – беззлобно говорил Колычев. – Пакт ему нужнее всего. Они сейчас договорятся и вместе будут делить мир. Ты видел когда-нибудь, чтобы мы поддерживали приличного человека? Только людоедов. И здесь глубокая мысль. Все оттого, что мы не верим в чистую любовь. Мы можем поддерживать только корысть, а корысти ради нас любят только сволочи. Мы и Гитлеру нужны только ради хлеба. Сырья у нас вагон. Это будет гораздо хуже, чем война с Гитлером. Это будет война вместе с Гитлером, и слава Богу. После нее нас точно не будет. Мы вскочили на тонущий корабль, не буду тебе говорить, как он называется.

– Какой не думал век, что он последний, а между тем они толклись в передней, – процитировал Миша.

– Конечно, не последний, почему последний? Есть разные стадии вырождения, есть интересный подземный мир, у темноты свои градации. Мы все это увидим. Ясно только, что мы уже в подземном царстве, а там можно пробивать еще много днищ. Советская власть недурна, но есть в ней черное пятно, и оно будет теперь расползаться, пока не захватит ее всю. Ты думаешь, они подружились просто так? Нет, это давно должно было случиться. Ты же знаешь, зло потому только еще не победило, что не умеет договариваться. Но на этот раз они договорились, и я не знаю, что может мир противопоставить этой силе. Наверное, они поссорятся, но только тогда, когда уже завоюют всех прочих. Тогда, разумеется, победим мы, потому что мы больше. Но, впрочем, за это время они смешаются до полной неразличимости.

И, как в стихах колычевских гостей, это была чушь, но в ней что-то было. Во всякой чуши что-то бывает, и порой кажется, что она-то и есть истинное лицо мира.

* * *

9

На Чистых прудах появилось новое лицо – девушка в белом свитере. Саша Горецкий сказал, что познакомится завтра же. Почему не сегодня? Сегодня он был не в лучшей форме. Вообще все самое важное надо откладывать на завтра. Сегодня рано, послезавтра поздно. Лида Сажина призналась, что у нее над постелью висела одно время бумажка: «Завтра начну худеть». Очень утешало по утрам. А потом как-то сама похудела и стала красавицей. Она говорила об этом легко, как и положено самоуверенной красавице, но с девушкой в белом ей было не сравниться. Та вообще была фея.

Миша решил, что с Горецким конкурировать не будет. Он увидел, как девушка в белом свитере села на скамейку и стала переобуваться, понял, что она сейчас уйдет и шанс будет упущен, и подъехал к ней, торопясь изо всех сил, чтобы не успеть передумать.

– Здравствуйте, – сказал он, – мы любим вас.

Эта фраза пришла в последний момент и была прекрасна тем, что на нее нельзя было не ответить. И она ответила именно так, как он предполагал:

– Здравствуйте, а сколько вас?

Теперь близорукий Миша хорошо ее рассмотрел. Она была красива необыкновенно, ровно в том смысле, какой и вкладывается в это слово: обыкновенная красота может остановить взгляд, может даже заставить разинуть рот и посмотреть вслед, но не вызывает желания любой ценой, вот здесь, сейчас, вступить в то же тайное общество, в котором состоит эта женщина. Ведь она состоит, иначе откуда такая уверенность, ладность? При виде такой красавицы всегда понимаешь, что где-то есть такие, как она, но мы их не видим, потому что это общество тайное. Она была из тайного общества людей, ходящих по воздуху. Они в любой момент могли из этого воздуха соткаться и защитить ее от всякой опасности. У нее всегда все получалось. Улыбка ее была заговорщицкая. Волосы ее рыжие с золотом, нос прям и ровен, лоб высок, черты соразмерны. Уста ее имели тот карминный оттенок, ту нежную алость, которой Миша никогда не видел, но представлял. Карминную помаду готовил парфюмер Рене для королевы Марго. В этом слове был также камин.

– Нас человек семь, – небрежно отвечал Миша, – они все вон там катаются, а я расхрабрился и подъехал.

Он вообще сильно осмелел с того момента, как его отчислили. Кроме того, у него был теперь заработок. Он был самостоятельный, немного демонический юноша, которому нечего терять.

– Вы хорошо сделали, – ответила она, – но долго собирались. Я уже ухожу.

– Это ужасно, – сказал Миша. – Лучше мне вас не провожать, ведь вы идете к кому-то, а я этого не переживу.

– Лучше не провожать, – кивнула она, – потому что я уже переобулась и не смогу вас ждать. А иду я в театральную студию, туда нельзя опаздывать. Вы это переживете, а завтра я опять здесь буду в это время.

– Вы не придете, – сказал Миша, – я точно знаю. Я не смогу даже позвонить вам.

– Не сможете, – подтвердила она очень серьезно. – Мы недавно приехали, телефона еще нет. Поэтому я приду. Ведь вы меня любите.

И ушла, и, конечно, обернулась. Он знал, что она обернется. Обернулась, но махать не стала.

Назавтра Миша пришел ровно в семь, и, конечно, она явилась четверть восьмого, это было как балет. И он подлетел к ней. Она была еще лучше, потому что без берета. Берет не шел, или, точней, ей все шло, но он увидел теперь всё золото, всю рыжину. Вокруг было сказочней прежнего, снег порхал, фонари сияли благожелательно. Миша прищурился, и вокруг всего выросли лучи.

Ее звали Лия, ее отец работал в Германии, потом приехал. О матери она никогда не рассказывала. Она училась теперь в педагогическом институте, но готовилась поступать в театральный, в какой-нибудь из трех, как делается всегда: куда пройдет. Поступать сразу после школы она не решилась, а в педагогическом думала проучиться год, просто чтобы не терять времени. В крайнем случае останется учительницей, она прекрасно ладит с детьми. И почти со всеми она говорила как с детьми, не снисходительно, а скорей

сострадательно и очень серьезно. У нее были ямочки на щеках, тонкие пальцы, все в ней было невыносимо, невыразимо изящно, и Миша всегда понимал, что приблизиться к такой девушке ему не дано. Но он уже понимал, что, если ничего не делать – ничего и не будет, и потому нагло расспрашивал об отце, нагло набивался в театральную студию, куда она ходила, – и в самом деле получил приглашение туда зайти.

Они репетировали пьесу, которую сочиняли сами. Сюжет ее был – строительство города в тайге. Началось с этюдов: Орехов предлагал «безнадежное положение», «невыносимую неловкость», «знакомство», и как-то все это закрутилось вокруг быта комсомольцев в новеньких бараках, вокруг массового выезда в незнакомые места. Тут был простор для освоения любой натуры, импровизировали сколько угодно – в тайге появлялись валуны, льды, только что не пустыни; публика была самая разношерстная, работы хватало всем типажам. Орехов пояснял, что строительство города – древнейший сюжет, позволяющий всем раскрыться. Ну, или уничтожение, неважно. Если греческая Илиада была про осаду и разрушение, то наша, советская Илиада должна быть про созидание.

Орехов был из беспризорников, и поначалу Мишу это поразило – так он был культурен, мягок и так умел подладиться к каждому; но, вдумавшись, Миша понял, что это и есть школа беспризорщины – иначе не выживешь. Со всеми ласков, любую идею принимал восторженно, с тщательно имитируемым детским любопытством, но умел всегда повернуть так, чтобы на ней появлялся ореховский налет. Он в высшей степени умел то, что называется «студийностью» и без чего будущего театра не бывает. Миша полагал, что и Станиславский действовал так же. Это не было актерской вольницей: Орехов сначала создавал климат, в котором каждый являл свое лучшее, а после отбирал то, что ему годилось. Годилось ему, впрочем, не лучшее. Миша с трех репетиций понял, что без Орехова это был бы другой спектакль, куда более талантливый и пестрый. Орехов отбирал идейное, позитивное и трогательное. На этом думал он построить советскую сказку. Его главной формальной идеей был хор, объяснявший все обстоятельства. Герои занимались в основном тем, что рассказывали о себе – как говорил дядя, выбалтывались, – выясняли отношения и пели песни. Изобразить на сцене трудовой процесс не удавалось даже хору. Выходила лютая вампука: о, как мы побежим! Вместо трудового процесса были песни, много, из них состояло почти все действие. Это и была комсомольская опера с вкраплениями споров о вредительстве. Без вредительства не выходило конфликта.

Студия собиралась дважды в неделю, по средам и субботам: Миша скоро начал благословлять эти дни, точней, глубокие, мягкие поздние вечера. Декабрь сорокового был теплый. Техника Орехова была такая: он «задавал обстоятельства». Назначенцы, то есть те, кого он уже назначил на роли, вступали в диалог. Летописцы, они же Несторы, записывали удачные реплики. Наблюданцы, они же недовольцы, предлагали свои действия в предложенных обстоятельствах. Обсужданцы, они же зрители, отбирали лучшее. В паузах между сборами Орехов все это записывал. Так из вариантов, ветвясь и кустясь, росла пьеса, в которой от бурных споров, насмешек и озарений почти ничего не оставалось. Если бы Творец творил коллективно, мир был бы невыносимо скучной равнодействующей. Эту мысль следовало продумать.

Но самым ценным результатом всего творившегося в гимнастической зале на Никитской была не комсомольская опера о городе ветров, а то, что происходило после репетиций и вне студии. Когда режиссер Степанов, немногословный и вечно недовольный – без этого он не мог бы выглядеть единственным профессионалом, – гулко хлопал в ладоши и говорил «Сегодня всё», начиналось главное: раздувался настоящий самовар, за который отвечал Орехов (у него был для этой цели особый сапог, никто не подпускался к сапогу), заваривался чай, девушки – как были, в гимнастических трико, прелестные, разгоряченные, – устраивали застольный уют, распивалось легкое белое – возникала милая суета, и тут-то импровизировались диалоги получше сценических.

А всего слаще было возвращаться с репетиций. Всякий город создан для своего тайного заветного действия, и Москва – по крайней мере та, какой она была в том декабре, – казалась устроенной для ночного возвращения с репетиций одинокого медбрата, влюбленного одновременно в ангела и демона, причем демон был немного ангелическим, а ангел – демоническим, или так: ангел – немного падшим, а демон – немного взлетевшим; вот такая сложная, витиеватая цель – но ведь и сам город сложен и витиеват, изгрызен переулками, кротовьими норами, внезапными выходами из одного пространства в другое. Миша шел пешком с Герцена на свои Чистые пруды под крупными снежными звездами, город был тих, снег глушил все, даже трамваи Бульварного кольца лязгали вполголоса. Петербург, положим, хорош для неусыпных трудов и судорожных пиров Петра, для экзекуций и рекреаций, для корабельного строительства на плоских берегах и восстаний на обширных площадях; Москва нехороша для восстаний, они в ней обычно не удаются, а для трудов тесна и суетлива. Москва вся как бы кругами расходится после чего-то главного; камень брошен, и пошли круги – Бульварное, Садовое, Окружная железная дорога… Вся Москва расходится кругами – с пьянки, гулянки, репетиции. Репетиции длятся

вечно, от слова репетэ; спектакль никогда не состоится, главное – расходиться. В Москве хорошо поздними вечерами возвращаться из школы, с заседаний непременно авиамодельного кружка, хотя хорош бывает и кружок мягкой игрушки. Хорошо идти с репетиций, долго провожать друг друга, прощаться в подъезде, целоваться, возвращаться, терять варежки. Москва создана для молодых людей, еще не перешедших окончательной черты ни в чем – ни в изгойстве, ни даже в любви; переходить эту последнюю черту в Москве всегда негде.

Миша много думал о том, где же и как им наконец с Лией сделать то, к чему все шло; чем больше обожали Лию все хозяева и гости студии, чем ярче сиял вокруг нее ореол этого обожания, чем напевней делалась ее речь, как бы состоящая из одних переливчатых гласных, – тем яснее Миша видел, что это все ему, и не за особенные его достоинства, а просто потому, что он первый осмелился это взять. Вот так подойти и сказать: мы вас любим. И все-таки она чего-то ждала от него, чего-то еще ему не хватало, он знал, что форсировать нельзя.

Но он уже знал, что из всех его воспоминаний, которые случится же когда-то перебирать, самым золотым светом будут сиять все эти посиделки и попевки. И, когда ему вспоминалась Лия, а она, собственно, и не вспоминалась, а так и жила с ним все дни, встречала его теперь каждое утро, и он тупо улыбался в подушку, – он чаще всего видел ее в профиль, рот полуоткрыт, волосы еще собраны в хвост после акробатики, слушает Гуннарса и Цветкова, поющих хором еженедельную порцию частушек, – и на лице то сложное сочетание любопытства, любви и жалости, которое он видел у нее только в студии. Он не понимал, как можно было так слушать частушки, или песенки Горецкого, или жестокие романсы Орехова, которых набрался он еще в беспризорничестве.

– Это же шлак на три четверти, Лийка, – сказал он в начале очередного провожания; Лийка – была единственно доступная ему фамильярность, надо же было называть ее как-нибудь простецки, чтобы не прорывалось все время благоговение. В конце концов он был студент, хоть и отчисленный, и старше двумя годами, и должен был скрывать, что чувствует ее старшинство.

– Ну вот четверть и останется, – ответила она тихо и как бы виновато, все понимая, но не умея предотвратить. И, после нескольких шагов в молчании: – Не факт, что это будет лучшая четверть.

Он заговорил о том, что в литературе остается как раз лучшее, можно оспаривать отсев, как некоторые пытаются доказать, что Кюхля писал лучше Пушкина, – но почувствовал (он всегда это чувствовал с ней), что говорит мимо темы.

– Литература не то, я не про литературу.

– А про что?

– Про четверть. Вообще останется четверть, и я никогда не понимаю кто. Себя, например, не вижу, про себя ничего не знаю. Ты вот останешься. – Этот ее взгляд он знал: прищуренный и, кажется, неодобрительный, словно говорящий: «Ишь ты!» – но так, как говорят про удачливого жулика.

– В каком смысле останусь?

– В прямом. Запоминающийся такой. Это не всегда хорошо, кстати. Виноват будет другой, а запомнят тебя.

– Любишь ты, Лийка, говорить непонятно, – сказал он, чтобы стряхнуть страх. Он всегда побаивался, когда она так говорила.

– Да все тебе понятно. Мишка, отстань. Сколько можно целоваться.

Он понял это как намек – действительно, хватит целоваться, пора уже дело делать. Есть рубеж, на котором не стоит задерживаться. Но рубеж этот труден, и всегда есть страх, что ничего не получится: он это чувствовал, хотя дальше интенсивного обжимона (нужно другое слово, но где взять?) ни с кем еще не заходил. Дело не в банальной робости, не в пошлом «получится – не получится», но в том, что последнего взаимопонимания не будет, а без него любые совпадения прочитанных книжек ничего не значат. Ужас, что все должно подтверждаться чем-то грубым и земным, хотя отчасти, конечно, небесным. Ужас, что в основе всего так-таки плоть, базис, как в основе всякой поэзии, учат нас отцы-основоположники, лежат производительные силы. И, значит, придется решать десятки унизительных вопросов, переходить от провожаний и разговоров к поискам идеального времени и приемлемого места. С ней было ясно и просто, но до поры. Барьер он чувствовал, и, если бы не барьер, Лия была бы обычным своим парнем, как все та же Вера, комбригская дочка.

И временами он начинал ненавидеть ее красоту, которая притягивала всех, красоту, на которую оглядывались (заодно скользя взглядом и по нему – и взгляд этот был не завистливый, как ему бы хотелось, а снисходительный: ну, этот-то не помеха). Он видел в ней и силу, и мудрость, и скрытый талант – ведь, не сочиняя песенок и не подавая реплик, она все-таки была в студии талантливей всех, это признавалось молчаливо и единогласно; а другие видели красоту в самом пошлом смысле, и с ними надо было держаться так, чтобы не увели. Ах, она с такой легкостью могла польститься на ложную многозначительность, на чье-то жирное восхищение, на зрелость, наконец! Столько пошляков вокруг мечтали с ней быть, и для красоты это так привлекательно – желать восхищения, раздаривать себя! Сам он рядом с ней чувствовал себя иногда как собака на сене: Лию надо было уступить тому, с кем она смотрелась бы лучше. И при этой мысли он закипал.

Иногда им случалось разговаривать о войне. Эту тему Миша ни с кем старался не расковыривать, потому что ему всегда казалось, что только сказанное слово приближает катастрофу, а пока о ней молчат, она как бы спрятана. Самое ужасное, что он не понимал, с кем будет эта война. Иногда ему даже представлялось, что она будет гражданской. С Германией мы договорились, никакой Европы больше нет, Англия далеко, Америка еще дальше, с Японией в последнее время тоже начались странные телодвижения с обеих сторон – мы как бы не против, да и мы не против, да, и ведь мы такие большие… Интересно было бы с Африкой, тут намечался как будто сюжет. Еще любопытней с Антарктидой, вылезут оттуда страшные ледовые люди… Но понятно было, что вечно жить в таком неврозе нельзя, он должен чем-то разрешиться, иначе никто так и не поймет, к чему мы всю жизнь готовились. Все это Миша попытался изложить – по возможности насмешливо, хотя смеяться было не над чем: мало того, что вся история придет к бездонному зеро, но и вся его жизнь кончится ничем, а это волновало его гораздо серьезнее.

– Нет, – сказала Лия, – война обязательно будет. Я знаю.

Миша даже возмутился: что ты знаешь, откуда?

Она помолчала таинственно.

– Я могу тебе рассказать, и ты даже поймешь. Но будет ли тебе хорошо от этого?

– Ох, Лийка. Мастерица туман разводить.

Но полчаса спустя он сам жалел, что уговорил ее рассказать. Страшно было все – и то, что она это знала и вот такое носила в себе; и само по себе то, что она рассказала; и главное – что она, похоже, была права.

– Это убийство двадцать второго года, – сказала она, наконец решившись. – На ферме Хинтер Кайфек.

И уже в названии фермы почудилось ему ужасное.

– Мне сначала в школе рассказали, когда я там училась. И потом я все прочла, все, что могла. Но яснее не стало.

– И кто кого убил?

Лия все молчала.

– Ну, слушай, – заговорила она наконец, глядя вдаль странно расширенными глазами, словно ее и мучила, и завораживала эта история.

Она рассказывала не так, как дети рассказывают страшное – наслаждаясь и гордясь, что завладели вниманием всей компании где-нибудь ночью у костра, – а как будто заглядывая на изнанку мира, и то, что она видела, было жутко, но очень важно.

– Это ферма в Верхней Баварии. Сейчас ее уже нет, там год спустя все сровняли с землей. Три здания – дом, конюшня и сарай. Все это такое, знаешь, немецкое, низкое, приплюснутое. И толстые стены, беленые, как каменное мыло. Жили там Груберы. Муж и жена, Андреас и Цецилия, она старше на десять лет. Его насильно женили, потому что она единственная наследница фермы, а он из бедняков, батрачил там у них, что ли… Он ее не любил совсем. И она действительно очень некрасивая, тоже низкорослая. И у них была дочь Виктория. И с этой дочерью он стал жить как с женщиной с ее четырнадцати лет.

Лия сказала об этом очень просто, как говорят о скоте.

– Подожди. Дочь точно была от него? Может, эта Цецилия была вдова уже?

– Нет, точно. Если бы не от него, было бы не так дико. Но именно от него, и он бил их все время. Обеих.

Замолчала.

– А соседи?

– Соседи знали, конечно. В деревнях всегда всё знают. Но это же ферма, отдельный, можно сказать, хутор. Там две соседские семьи. Про одну будет дальше потом, а на другой вообще с ними не знались. Не любили их сильно. Викторию эту еще туда-сюда, а Андреас был хмурый, часто пьяный. Жена все знала. Она не возмущалась, ничего. Да и что могли они обе? А потом, в двенадцатом году, когда Виктории было двадцать три года, ее выдали замуж, но к отцу она продолжала бегать при первой возможности.

– Добровольно?

– Ну, кто же теперь скажет. Думаю, добровольно. И муж все знал, поэтому через два месяца такой жизни он сбежал от них. Назад к родителям. И призвался оттуда в армию, и пошел в четырнадцатом году на войну. Его убили под Аррасом, знаешь битву при Аррасе? В октябре. Тысяч сто поубивали с разных сторон. Он провоевал всего три дня. Мясорубка.

Миша слышал только об одной битве при Аррасе – той, в которой убили барона де Невиллета и тяжело ранили Сирано, – но кивнул. Да и какая разница.

– Вот. А у Виктории осталась дочь, непонятно от кого. Тоже Цецилия. К двадцать второму году ей было семь лет. А в пятнадцатом году Виктория вдруг призналась священнику на исповеди, что все это время вот такое было с отцом. А священник не смолчал, видишь? Все одно к одному. Если священник нарушает тайну исповеди, это страшное дело. Но ему показалось, что инцест – это более страшное дело. И он проговорился, и Андреасу дали год каторги, а Виктории – месяц тюрьмы.

– Ей-то за что?

– А по немецким законам это общий грех. Прелюбодеяние. И он год спустя вернулся, и все это опять началось, представляешь? Но в девятнадцатом году Виктория соблазнила соседа. Пришла к нему за чем-то, якобы по хозяйству, и там в сарае буквально заставила. Так он рассказывал. Он был немолодой уже, сорок с лишним. Похоронил только что жену. И там уж непонятно, кто кого соблазнил. Но у них было несколько раз, в том же сарае. И она забеременела опять. И сосед пришел к Андреасу просить ее руки, но тот сказал: никогда.

– Почему?

– А кто знает. Наверное, любил. Такая тоже любовь.

– А сосед?

– Сосед сказал: но она же беременна. А Андреас ответил, что он за это уже отсидел и все равно запишет ребенка на себя. Но ребенок родился больной. Уж он-то явно был от этого дикого брака с отцом. Он не рос почти и был отсталый. Видишь, сколько там уродства на одну ферму? Прямо концентрация, всё налицо. И тогда этот сосед женился на другой, но про ребенка все равно всем говорил, что это его сын.

– Вот. – Она снова замолчала, и Миша не торопил. Он уже чувствовал, что дальше будет хуже. – И вот март двадцать второго года. Я это все очень хорошо помню, в газетах подробно было. Мы же в Мюнхене жили, там это недалеко. В библиотеку ходила, всё читала. В конце марта Андреас ездил на ярмарку. И там в кабаке одному человеку рассказал, что начались странности. Что он слышал шум на чердаке ночью, а в лесу, рядом с фермой, кто-то ходил с факелом. А потом видел, что от опушки леса к его дому шла цепочка следов. Явно один человек. И следы обрываются у его порога, а обратных следов нет.

– Жуть.

– Да. Вот он это рассказал, а сам с выручкой поехал домой. Он не хранил деньги ни в банке, нигде, не верил никому. Все знали, что деньги в доме, и все его боялись. И на следующий день, и через два дня видели дым у них из трубы, и свет был в окнах. Приходил мастер чинить трактор, с ним Андреас за неделю договаривался, потому что весна, скоро пахать. Он приходит – никого нет, сарай открыт. Стал чинить трактор, нарочно громко свистит, поет – вдруг откликнется

кто. Никто не отозвался. Он постучал – глухо. Удивился и ушел. А потом почтальон пришел, принес газеты. Видит – окно кухни открыто, там детская коляска. Удивился, газеты бросил и ушел. А еще через день приходит – опять окно, опять коляска. Ее не сдвинул никто. Тут он насторожился и пошел в поселок, и там вспомнили, что дочка в школу не ходит уже три дня. Пошли к этому соседу, от которого сын. Он говорит: я их тоже не видел. Видел только, говорит, свет от фонарика позавчера ближе к лесу, но когда я окликнул, то фонарик погас. Пошли на ферму впятером, взяли самых крепких на всякий случай, а там уже не надо было никаких крепких. Там в сарае лежат Андреас, его жена старая, Виктория и девочка. Лежат прямо на пороге, старой дверью прикрыты и сеном. У всех четверых головы разбиты ударом крест-накрест, то есть как бы в два удара тяжелым и острым. И кирка рядом, мотыга. Так выглядело, будто их кто-то заманил в сарай вечером. Они все уже были в исподнем. Дверь там узкая, заходили по одному. Кто-то их там ждал. А потом убили прислугу их, хромую, тоже больная была – одна нога короче другой, и если над ней смеялись, то она на людей прямо кидалась, нигде не задерживалась дольше месяца. А эти взяли, они сами, понимаешь, кидались на людей… Вот, ее зарубили в комнате, а младенца – в детской. Причем…

– Да не тяни ты!

– Причем, – сказала она, опустив голову, – его ударили, уродца этого, с такой силой, что полчерепа на метр отлетело буквально. И кровать в щепки. Кто-то сильно очень молотил.

– Начинаю догадываться.

– Погоди. Ни гроша не взято, все деньги на месте, хоть они лежали практически на виду. И самое страшное не это, а то, что на чердаке нашли привязанную веревку, очень толстую, и потолок был разобран над конюшней. А там все строения – сарай, конюшня, дом, – они соединены, так что можно было спуститься, скажем, в конюшню и пройти в сарай. И на чердаке были следы, там жил кто-то. И до убийства, и, что совсем непонятно, после. Их убили еще в конце марта, а ушел убийца совсем недавно. Он задавал корм скоту. Собаку привязал, но кормил. И ходил по опушке, ходил, не уходил никак. Собак привезли, они нашли следы на опушке, а дальше их замело, и в лесу они уже не нашли никого. И еще, ты знаешь… Вот я не могу про это рассказывать.

– Но теперь-то, раз начала…

– Вот эта девочка… она из всей семьи, мне кажется, была самая нормальная. И она умерла не сразу. Потом писали, что если б ее вовремя нашли, то она бы спаслась. У нее порезана была шея, и она пальцами пыталась зажать раны. И нашли несколько клочьев волос, у нее в руках были зажаты клочья и кругом были. Это оказались ее волосы. Ты понимаешь? Она лежала там под трупами еще живая, зажимала свои раны и от боли рвала сама на себе волосы. Лежала, может быть, три часа, может быть, всю ночь. И была жива. И не могла кричать или боялась. Может быть, она и рвала волосы, чтобы не кричать. Вот как после этого можно вообще? Я понимаю, конечно, что под Аррасом умерли в ужасных муках, с разорванными, там, животами, триста тысяч человек, и от газов в разное время погибло не меньше, но там война. А когда я подумаю про эту девочку, дочь, наверное, собственного деда, которая родилась на этой глухой ферме, ничего, кроме фермы, в жизни не видела, и умирала там ночью, и рвала на себе волосы… я тогда думаю: нет, уже никто никого не спасет.

– Но это сосед, конечно.

– Нет, не сосед. У соседа алиби. Оно, правда, странное, потому что сначала он якобы там в предполагаемую ночь убийства сказал жене, что пойдет ночевать в сарай… слышал он какой-то шум, сказал, пойду караулить. А потом жена сказала: нет, он спал со мной. Но следы остались кровавые, такие большие мужские ботинки. А у него не нашли таких.

– Мало ли, в лесу выбросил. Сжег.

– Нет, не нашли. И не сжигал он ничего. И мотив у него какой был – обида? Правда, он платил на ребенка. Но это же его было решение. Я знаю, кто.

– Убитый муж, – сказал Миша, криво улыбнувшись.

– Конечно. Но понимаешь… его же никто не видел убитым. Было дознание. Опросили всех, кто с ним воевал. Видели его в начале боя, а потом там такое началось, что уже было не до отдельных людей. Объявили пропавшим без вести, а потом кто-то сказал: да видел я, в него осколок попал. И записали погибшим. Кто же там найдет.

– Это важно. Ты не говорила.

– Да. Но я не для эффекта, а просто – не пришлось. И я думаю, что он решил отомстить, и ждал, и пришел в двадцать втором, когда они уже не ждали, и убил всех.

– Ты думаешь, он так любил Викторию?

– Да не думаю. По-моему, тут другое. По-мо-ему, он просто навидался… и решил, что самое средоточие греха – вот. Что и война была для того, чтобы смыть общие грехи. Что, грубо говоря, война была из-за них. Что он там рехнулся, после первых обстрелов, и ему представилось – вот, когда люди столько грешат, рано или поздно у Бога заканчивается терпение. И он подумал, что вся война, весь вот этот Аррас, кишки на деревьях и все такое – это было за Викторию и Андреаса. Потому что много же было таких ферм. На него это сильно подействовало, я думаю, он потому и сбежал. И ребенка с такой силой убивал, чтобы от них никакого уж следа не осталось. А может, просто этот ребенок ему представился таким исчадием ада – плод греха и еще урод, – и он его за всех…

– Ужасные вещи ты носишь в голове, конечно.

– Ну а как, Миша? Там ведь все газеты это обсасывали, и до сих пор обещают премию за любую информацию, которая поведет к раскрытию. Модная такая тайна. Причем, конечно, никто никогда не найдет. Его же считают мертвым.

– Но почему он тогда там жил еще три дня?

– А не знаю. Наверное, ждал погоды, чтобы тихо уйти, чтобы в лесу следы замело. Там снег вдруг пошел, в начале апреля. Или еще чего-то ждал. Или кормил коров, чтобы не орали. Не знаю. Но они шли к нему в сарай, как будто знали его. Понимаешь? К незнакомому человеку они бы не пошли. Андреас, видно, вошел первым, его там завалили, а дальше пошла жена, а потом Виктория, а потом дочь. Но, конечно, к чужому не вошли бы. Хотя тоже не знаю. Странно все. Он же мог бы с чердака прямо в спальню спуститься. Но знаешь, как я представлю… что вот они жили там, а он в это время прятался на чердаке и готовился… ел что-то, там объедки нашли… И что потом этот рабочий сидит, чинит трактор, а на чердаке в это время выжидает убийца. И если только рабочий что-то заподозрит, его тут же мотыгой… И он свистит еще, да? Но, думаю, его бы он не убил. Он этим отомстил – и хватит. Правда, служанка… непонятно со служанкой.

– А представляешь, если это все из-за служанки?

– Я тоже думала. Она на кого-то наорала, на ребенка, который дразнился, – а он вырос, убил ее и всех. Причем, понимаешь, я даже не очень бы удивилась. Просто потому, что настолько уже можно все… Понимаешь, там Германия после войны. Нищая. И все со всеми, буквально. Извращения любые, все. Потому что война ведь не кончилась. И я даже думаю… то, что он, как бы мертвый, как бы из аррасской могилы за ними пришел, – это ведь и значит, что война не кончается, видишь? Эта война еще будет, придет за всеми. Потому что я не знаю, чем еще можно такой мир спасти.

– А войной можно? – спросил Миша. Он разозлился. Ему не хотелось войны и не нравилось, когда в войне видели нравственное благо.

– А войной можно, но не всякой. Вот ты подумай. Должна быть такая война, которая во что-то перерастет. Во время которой люди что-то вспомнят. Она должна быть очень огромная, очень. Очень страшная. Но только такая война сотрет все вот это, и с нее начнется новый мир. Уже навсегда.

– От количества зла, Лийка, ничего нового начаться не может.

– Нет, может! – закричала она. – Ты просто не понимаешь еще. Все это время растет, пухнет огромное, невыносимое зло. Оно было рассредоточено, а теперь собралось. И это единственный шанс его убить, и мы все сейчас ждем, чтобы оно набухло и треснуло. Его можем убить только мы, больше некому.

– А виновата ферма.

– Виновата ферма, да, – кивнула она. – Виновата ферма. Но пойдем ходить, я не хочу больше про это говорить.

– Я все равно теперь буду про это думать.

– Думать – пожалуйста! – согласилась она. – Обязательно думай. Ты же должен знать, чем все кончится.

И этой же ночью Миша почти не спал: ему все представлялся чердак, свет на опушке и толстая веревка в конюшне. И рядом неслышно переступает скот. И убил всех кто-то, кого они знают, кого они все бессознательно ждут. Но ничего мистического он в этой истории не видел. Ну, не взяли денег, подумаешь. Значит, кто-то, у кого достало жестокости убить Груберов, очень сильно их ненавидел – до того, что брезговал деньгами и любым их имуществом. Но действительно, хоть Миша и не хотел себе признаваться, концентрация уродства и зла во всей этой истории была такая, что только всех убить – а уж после такого убийства сровнять с землей ферму, и Мюнхен, и Германию, и весь прочий мир. Словно язык какой-то выхлестнулся из преисподней.

И на Лию он смотрел после этого иначе – как на девочку, причастную тайне жизни. Ведь только в нераскрытых преступлениях и виден почерк жизни: в раскрытых все рационально, а здесь вскрывается подвальное. И хотя Лия была грозно-прекрасна, говоря обо всей этой грязи, – теперь он еще меньше был готов переступать черту; и ему виделся в этом грех – странное слово, совсем не из его лексикона. Словно, сделав с ней это, он бы уже бесповоротно накликал расплату – ту самую, о которой она говорила: общую месть за личные грехи.

* * *

10

Но тут, казалось, сама судьба его подтолкнула: режиссер Степанов договорился в «Колизее». Там двадцать девятого декабря предполагалось новогоднее празднество, и на последнем сеансе студия получила концерт. Пение, танцы, стихи со сцены, все это, разумеется, бесплатно, но потом вечеринка в фойе уже для своих. До глубокой ночи, сколько сил хватит. К Новому году готовились по всей Москве так широко и празднично, словно он должен был наконец принести избавление от всех страхов: город украшался, иллюминации было много, как никогда, в школах разрешены были танцы – словом, по угрюмому замечанию угрюмого Севки, «веселились, как в последний раз». Очень может быть, что балы действительно устраивались напоследок: с будущего года предполагалось раздельное обучение – не везде, а в лучших школах, своего рода смольных институтах и пажеских корпусах. «И обязательно чтобы на линейке “Боже, царя храни”», – говорил Горецкий. Вообще все удивительно распустили язык, словно

постепенный переход обратно к царизму предполагал и некоторую фронду. Это пролетариату нельзя, говорил Горецкий, а лицеистам можно.

Таким знаком судьбы нельзя было пренебречь: Миша жил ровно напротив «Колизея». Оставалось уговорить родителей двадцать девятого декабря отсутствовать подольше, часов эдак до трех. От ночи 29 декабря все чего-то ждали: Орехов, кажется, имел виды на Аню или Надю (не на обеих же), но на ком остановиться – пока не представлял. Горецкому нравились все. У Севы была Люся, и с ней, кажется, давно уже все было, даром что она оставалась в студии единственной школьницей; именно в Люсе было волшебное сочетание робости и наглости. Как большинство ранних дебютанток, она была не слишком хороша: перед красавицами все робеют, а тут что ж робеть, да еще и при явно провоцирующей смелости? Сева был одинок, неприкаян, Люсина любовь была для него спасительна. Остальные не определились, кажется, или Миша попросту не успел вникнуть в сложный клубок притяжений и отталкиваний, образовавшийся в студии за год ее существования, – но все ожидали развязки. Атмосфера несколько истерического веселья уплотнялась по мере приближения празднества с физической, невыносимой осязаемостью. Лия словно решила ничего не предпринимать. Они оба всё понимали и двигались к неотвратимому, и только иногда Миша ловил на себе ее вопросительный, почти жалобный взгляд.

К празднику каждый готовил свое: Севка пел «Кирпичики» с новым, оптимистично-индустриальным текстом. Показывали третью сцену из «Города ветров» – монтаж-поверку, где каждый в рифму, а то и с песней рассказывал о родном крае. Родные края у всех выходили почти неотличимы и, кажется, довольно противны, коль скоро об отъезде оттуда сообщали с таким восторгом. Маленький серьезный Сема показывал фокусы. Товарищи, перед вами бутылка с водой. Всем видно? Теперь, товарищи, закройте глаза. Нет-нет, не подглядывайте! Раз… два… ТРИ! Товарищи, она абсолютно пуста! Как это могло получиться? Никакой алхимии, товарищи, одна наука! Студенты подтвердят вам, что точно так же исчезают деньги, можно даже не закрывать глаза. Миша собирался почитать, но еще не решил: ему и хотелось поучаствовать в общем празднестве, и стыдно было вылезать со своей самодеятельностью. Все-таки стихи – серьезное дело, они не могли не прозвучать диссонансом. Лия должна была блистать на вершине пирамиды и собиралась еще спеть, Горецкий вызвался аккомпанировать, и Миша нисколько не ревновал.

В магазинах появилось множество ватных вещей – сугробы с наклеенными блестками, деды морозы в небывалом количестве, парики и накладные бороды, жизнь затихла, даже о политике писали все меньше, разве что британцы наступали на итальянцев. Из разговоров в квартире Миша запомнил главным образом, что год был плохой, високосный, и наступающий наверняка будет счастливее. Сам он не мог сказать о сороковом годе ничего однозначного. С одной стороны, год был ужасен, невыносим, с другой – небывало ярок и принес ему великие надежды. Между тем спроси его кто-нибудь, любит ли он Лию, он не смог бы ответить с последней честностью. Лия была слишком хороша, чтобы ее любить. Если совсем прямо, то все, случившееся с ним в 1940 году, было незаслуженно: и ужасное, и прекрасное. Будущий год должен был все это выправить, а точней, вправить, как вывих; и при этой мысли Миша сжимал зубы. Вывих ему однажды, в третьем классе, вправляли.

Настало и двадцать девятое; Миша все утро перелистывал последнюю тетрадь и решился прочесть одно, совсем не праздничное. Диссонировать, так до конца. Ему почему-то казалось, что, если он не выступит, – у него не будет на Лию вовсе уж никаких прав. После предпоследнего сеанса – то была «Музыкальная история», натужно-веселая, без единой запоминающейся реплики, в самом деле очень похожая на исполнение арии Ленского пролетарием в натуральном виде, – в фойе расставили стулья в пятнадцать рядов; желающих праздновать было много больше, чем стульев. «Аншлаг, аншлаг!» – потирал руки Орехов.

Во время второго танца – это был медленный фокстрот «Домовой», – Лия спросила просто и серьезно:

– Миша. Тебе это нужно вообще?

– Что? – на всякий случай спросил Миша.

– То, для чего ты меня собираешься вести к себе.

Миша ничему с ней не удивлялся, да вдобавок выпил.

– Нужно, – сказал он так же просто.

– У тебя это уже было? – уточнила она.

– Было, – соврал Миша.

– Понимаешь, – Лия глядела на него очень прямо, – я обычно про всех могу это сказать. А про тебя не могу. Много что могу, а это нет.

– Ты, Лийка, цыганка, – сказал Миша, пытаясь свести все на шуточку.

– Может быть. Это неважно. Я просто действительно не знаю.

– Тогда, может быть, мы пойдем и все узнаем?

– Мы пойдем, – сказала она. – Но не сейчас.

– А тебе, – спросил он, осмелев, – это совсем не нужно?

– Вот я и думаю, – ответила она. – Думаю и пока не понимаю. Но у меня это было.

Тут Миша опешил. Ему потребовалась пауза.

– И что? – спросил он. – Это было плохо?

– Это было очень хорошо. Настолько хорошо, что мне теперь каждый раз трудно решиться.

Ого, подумал Миша. Каждый раз.

– Сколько же тебе было? – этот вопрос его действительно интересовал.

– Мне было шестнадцать лет. И я не жалею.

– Лийка, а ты вообще о чем-нибудь жалеешь?

– Пока нет. Потому что я сначала понимаю, а потом делаю. Пойдем, возьми мне мороженого.

Они протанцевали еще два раза, и Лия была молчалива и странно послушна.

Наконец сказала:

– Ладно, чему быть, того не миновать. Пошли.

– Лийка, если ты не хочешь…

– Да теперь уже какая разница. Ты что, боишься меня?

– Еще бы не хватало.

– Ну тогда пошли, – сказала она решительно. – Видишь, все уже как смотрят. Только и ждут, пока мы пойдем. Еще немного – закричат «Кисло».

– Почему не «Горько»?

– Потому что не свадьба, – ответила она с тихой яростью. – Веди давай.

Дома они долго и яростно боролись на диване в его комнате. То тихо целовались, то он принимался ее штурмовать, а она отчаянно защищалась, словно вообще забыла, почему тут оказалась, словно это у нее был первый раз, а не у пыхтящего Миши. Фонарь светил в окно, Миша проклинал себя и готов был отступиться, но смешно, смешно же, в конце концов! Лийка, бормотал он, ну почему? Она молчала и отворачивалась, потом целовались снова, потом начинался новый штурм, и Миша уже боялся, что, если до дела все-таки дойдет, он будет к этому моменту ни на что не способен. Сначала она еще улыбалась, он шутил, теперь оба молчали, и лицо ее было все угрюмее.

– Миша, – сказала Лия вдруг трезвым спокойным голосом. – Давай ничего не будет.

Он опешил и замер.

– Сейчас не будет, – добавила она. – Потом, может быть. Давай будет потом. Пусть у нас какое-то время будет это на потом.

– Ага, – сказал Миша, стараясь выровнять дыхание. – Морковь перед носом осла.

– Миша, – сказала Лия и замолчала. Некоторое время они лежали, не шевелясь.

– Теперь ты должна сказать, что я очень хороший.

– Но ты действительно хороший. Просто я знаю.

– Что же ты знаешь?

Лия села.

– Я действительно иногда знаю, – она словно оправдывалась, и потому он не мог даже рассердиться на нее по-настоящему. – Ты хороший, и я хорошая. У нас может быть когда-то, потом, и будет. Когда ты уже будешь не такой хороший, а я тем более. Но понимаешь… Как это сказать. У тебя есть плохая девочка или должна быть, но думаю, что уже есть. Ты уже знаешь ее. И она плохая. И у вас все будет. Вам будет что делать вместе, понимаешь? А нам пока нечего. У тебя сначала должна быть она.

– А у тебя кто?

– Может быть, никого. Я не знаю. Но потом будет лучше, правда. Я же не говорю тебе нет. Я же не пошла с Горецким. У меня это было уже, и хватит. Просто потом это может быть так хорошо, что сейчас не надо портить. Может быть, потом… когда мы будем готовы, не знаю… может быть, от нас родится кто-то невероятный.

– Но зачатие должно быть непорочным, – сказал Миша слишком зло и покраснел в темноте.

– Глупый ты какой, – сказала Лия. Другая девочка погладила бы его по голове и все испортила, но это была Лия, она делала только точные жесты. Сейчас точный жест был – расстегнуть пуговицы у ворота. – Ну хочешь, я сама? Только смотри, ничего не делай и смотри. Вот. Видишь? И нечего бороться, незачем пыхтеть. Я сама. Смотри и запомни. Вот я такая, и я буду твоя. Но потом. Пожалуйста, Мишка, пожалуйста!

Это был, конечно, обман – так, по крайней мере, казалось Мише после, – но теперь он купился. Разумеется, она сберегла себя для кого-то другого, может быть, того, с кем все уже и было, – но простой трюк подействовал, и он удовольствовался подачкой. Помажут и покажут, а покушать не дадут. Так думал потом неприятный человек Миша, обозленный неудачей, но в тот самый момент, при свете ртутного уличного фонаря, он смотрел на ее грудь как на святилище, смотрел с благоговением, и жест, каким она распахнула белую рубашку, казался ему жертвенным и трогательным. Она даже чуть подалась вперед, чтобы ему было лучше видно. И, даже в эту минуту ко всему подбирая эпитет, он подумал о млечной белизне – не молочной, а млечной, архаической, библейской.

– Хорошо, трогать нельзя, – сказал он тихо и хрипло. – Но хоть поцеловать можно?

– Не надо, пожалуйста, – сказала она просительно, но в то же время и гордо, без малейшей мольбы.

Он не знал, долго ли смотрел, но в конце концов – конечно, не насытив взгляда, но, как всегда в ее присутствии, почувствовав меру, – сказал грубовато:

– Ладно, замерзнешь.

И так же естественно, как только что расстегивалась, Лия застегнула рубашку.

– Но ты обещаешь? – спросил он совсем уже по-дурацки.

– Ничего ты не понял, Мишка, – вздохнула она без всякой театральности. – Что же я могу тебе обещать? Я буду просто очень ждать. Очень хотеть. Видишь, какие вещи я тебе говорю.

И она ушла, потребовав, чтобы он ее не провожал.

* * *

Засыпая, он думал, что утро следующего дня будет невыносимо. Но проснулся он, как ни странно, с чувством необыкновенной свежести, и подушка пахла волосами Лии, и в конце концов она ему оставила надежду, сколь ни жалким выглядело такое самоутешение. Почему-то он, так ничего и не добившись, чувствовал себя победителем. И если бы добился – наверняка теперь чувствовал бы себя хуже. Победителю вообще плохо: все время надо бояться, не уведут ли победу. А он теперь в нише благородного проигравшего – не побежденного, но именно проигравшего; и победа у него впереди. Так во всем.

Между тем конец года готовил ему сюрприз. Он вспомнил, как год назад ставил себе задачу непременно расстаться с невинностью, и что же? У него оставалось два дня, которые уж точно не приблизят его к разрешению этой задачи. Хорошо было в прежние времена: пойдешь к проститутке, и никаких страданий. Впрочем, много рисков иного порядка, и как-то стыдно. Тридцатое был день нерабочий, и он поплелся к Колычеву, хотя всякий раз себя корил за встречи с ним.

Колычев, как обычно, ему обрадовался. Ему приятно было видеть у себя на дне свежего человека.

Он расспросил Мишу, как все прошло, но в действительности этим не интересовался. Колычев готовился к собственному празднику. На Новый год он был зван к приятелю. Новый год они всегда справляли тридцатого, потому что тридцать первого было скучно. Колычева, как он говорил, раздражала вся эта новая эстетика. Ему больше нравился стиль пятилетней давности, когда никто еще ничего не праздновал и не было ватных дедов морозов.

– Они все время празднуют, ты заметил? – говорил он, грассируя. – Все празднуют. Все что-то отмечают. То у них Пушкина застрелили, то Маяковский застрелился. Им плевать, что первого поэта России пристрелил, как собаку, французский педераст, а последний поэт застрелился из боязни сифилиса, как гимназист. Они празднуют, изволят кушать. И заметил ты, что? они кушают? Этого приличный человек в рот не взял бы. Они едят краба, морского таракана, едят миногу, морскую пиявку, которая даже не рыба. Она прогрызает рыбу и паразитирует на ней. С нее свисает, болтается, – он показал. – Впрочем, какие праздники, такие и закуски.

– А ты куда пойдешь? – спросил Миша, стараясь быть небрежным.

Новый год в их семье принято было встречать исключительно дома, но тридцатого можно и в гости, ничего страшного.

– А я пойду в один дом, любопытный дом. И тебя могу прихватить, если хочешь.

– Ну, это неловко, – сказал Миша, стараясь на этот раз быть скучающим.

– Неловко, да, – согласился Колычев. – Но очень смешно. Он, кстати, пристойный человек, метростроевец. Я сочинял им однажды праздничный монтаж к открытию станции метро «Площадь революции». Отлично заработал.

Знакомства и занятия Колычева были непредсказуемы. Впрочем, на дне всему выучишься.

Миша почему-то страшно не хотел, чтобы все сорвалось. Он прошлялся по праздничному городу до семи, чтобы еще чуть опоздать, и все это время думал о Лии, о том, что есть у них общее – даже слишком много общего, – а потому, возможно, им и не нужно сближаться. Но тогда, думал он, она может сойтись со своей противоположностью, с человеком из самого верха, потому что они тоже любят отнюдь не пролетарок. И это будет вовсе уже невыносимо. Он не знал до сих пор, любит ли ее, но уже ревновал.

Между тем начинало темнеть, и Миша подумал, что приспособился наконец к безразмерному свободному времени, которое у него теперь было. Он свободно плавал в нем, а не пережидал. Вообще, когда ты плаваешь в мире, а не относишься к нему как к временному испытанию, можно дождаться ответа, иногда благожелательного. Он не представлял, как вернется в институт, который – теперь это ясно было Мише – выполнял единственную функцию: помещал их всех в аквариум, давал отсрочку от жизни. Возможно, в таком аквариуме можно достигнуть выдающихся результатов – выучить, например, арамейский язык или прочесть хеттский диск; но цена этих достижений незначительна. Ему и в институтские годы приходила иногда странная мысль, что все это понарошку – и рассказы Гриба о Бальзаке, и Дживелегов со своим Средневековьем. Жизнь давно устремилась дальше, обтекая их, и надо было нюхать эту жизнь, в которой были не только колхозы, а и Колычев, и даже эти

бессмысленные как будто скитания по зимним улицам. Побыть лишним иногда совсем не лишне. Лучше лишним, чем пристроенным. И к новому дому вблизи Таганки он подошел умиротворенным – не в последнюю очередь потому, должно быть, что и день был такой, как он любил, – мягкий, с обильным снегом.

Колычев был уже тут. Метростроевскому начальнику полагалась квартира в две комнаты, без роскоши, но с той же основательностью во всем, какая чувствовалась и в станциях первой ветки. «Ты понимаешь, – тихо объяснял Колычев, – чем нынешний человек глубже в какой-нибудь норе, тем он лучше. Сейчас правильней всего находиться под землей, я живу в подвале, но это еще не совсем правильно. Вот Меркуров находится глубоко, и как-то вся эта атмосфера его не касается…»

У Меркуровых все было достойно и просто. Прекрасен был его большеголовый сын, симпатична смиренная дочь, в которой, однако, шипело и пузырилось тайное хулиганство, и в жене его, усталой, но доброжелательной, происхождения, как пояснил Колычев, крестьянского, тоже чувствовалась выносливость и глубокое, ничем не нарушаемое равновесие. А ведь подобрал ее Меркуров во времена, когда она бежала из деревни, бралась за все – в сущности, побиралась. Зато теперь она выстроила ему по-крестьянски ладный быт. Было несколько военных – непонятно, какое отношение они имели к Метрострою, и вид у них был такой, словно они только что прилетели с одного задания и теперь собирались на другое. Впрочем, у всех военных, каких Миша знал, включая подполковника Самохина из больницы, был теперь такой вид. Он думал, что будет случай за столом порасспросить военных, действительно ли уже вот-вот, – но как-то это было не совсем прилично.

Все было, как за обычным новогодним столом, но странной дополнительной радостью выглядело то, что праздник еще не сейчас, еще завтра. Меркуров добродушно пояснил, что отмечать все праздники загодя приучился именно в метро, когда накануне открытия станции те, кто ее строил, ехали первым поездом и потом пировали в пустом вестибюле, где завтра будет не протолкнуться.

Гостям были подаваемы холодец, вареная картошка, превосходные котлеты в золотистых сухарях. Из напитков была простая главспиртовская водка, потому что Меркуров признался с обычным своим прямодушием, что от вина пьянеет сильней, а водка помогает выводить из организма вредные вещества, образующиеся от подземной работы (ни о каких таких веществах Миша не

слышал и решил, что это он так с серьезным видом шутит). Несколько запьянев и становясь, как всегда, многоречивей (но ничуть не глупей), Колычев воробьем наскакивал на военных: ну что там? ну что там?! Война продолжала его волновать и тут. Военные отделывались пословицами и поговорками. Худой мир, сами понимаете. Иногда отвечали чуть более распространенно: да подумайте, кто же отважится напасть? У них был такой прием – Миша откуда-то знал его, хотя с офицерами общался мало: они с таинственным видом, с особой секретностью сообщали что-нибудь общеизвестное, лишь бы отвязались. Ну вот посудите сами, говорили они: какая же может быть война? Я не имею права, сами понимаете, но просто задумайтесь: разве в танках, в авиации кто-то может сегодня иметь над нами серьезное превосходство? И не просто количественно, но я вас заверяю, что командирские навыки и все вот это. Ведь посмотрите, Испания, Финляндия, все это время мы именно соревновались. Весь мир видел. И мы показали такое доминирование в воздухе и на земле, что это, заверяю вас, отдалило всякую возможность.

Вот видишь, говорил ему Колычев, когда они вышли курить, они все подтверждают. Ему обязательно нужна война. Он ничего уже не сможет без войны. Если не будет войны, то ему будут смеяться в лицо. Ничто, кроме войны, не сможет все это списать. Поэтому они забегают то с одного, то с другого бока. И теперь я уже точно чувствую, что именно в этом году: у меня, братец, всегда сбывается – как встретишь, так и проведешь. В прошлом году я встречал без Нины, и провел без Нины, и испытал огромное облегчение. Человеку с моими данными нельзя иметь Нину, она выжрет у него все потроха. А в этом году я встречаю с военными, и уж это наверняка, вспомнишь Колычева.

Ближе к полуночи затеялась таинственная игра в предсказания. Больше всех радовались меркуровские сын с дочкой, Андрей и Аглая – кто сегодня дает такие имена?! – и Миша был действительно в ударе. Они с Колычевым солировали. Игру эту придумал или вычитал где-то Борис, она была в большом ходу в Карманицком переулке и на прочих институтских сборищах, но там все было по-детски. Правила состояли в том, что испытуемый мысленно задавал три вопроса. Был вариант, что они записывались на бумажке, но только в том случае, когда их можно было огласить. Иногда, случалось, у испытуемого была личная тайна. Вот так-то Миша и получил тайное, но совершенно определенное предсказание насчет того, что в наступающем году у него появится любовница, долговременная подруга. Медиум избирался всякий раз заново. Выделить медиума из числа присутствующих было несложно: ведущий рисовал на клочке бумаги нечто. Присутствующие отгадывали. Разумеется, все друг друга знали, но это не облегчало задачи. Легко было угадать только у Олега, всегда

рисовавшего член, иногда крылатый (все знали его страстную мечту об авиации). Тот, кто попал ближе всех к реальности, – точно угадать не удавалось почти никому, – доказал свою сверхчуткость и, отвернувшись от испытуемого (иногда еще завязывали глаза), начинал отвечать. Эта игра прокатывала в любом обществе – будущим интересуются все; лучше были только танцы, но здесь попалось общество нетанцующее, хотя Меркуров и обещал, что скоро нагрянет настоящая молодежь, вот они покажут класс.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/bykov_dmitriy/iyun

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити